



ЕЛЕНА ЧИЖОВА

КИТАИСТ

РОМАН



Елена Чиждова

Китаист

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Чижова Е. С.

Китаист / Е. С. Чижова — «АСТ», 2017

ISBN 978-5-17-101065-2

Новый роман буковевского лауреата Елены Чижовой написан в жанре антиутопии, обращенной в прошлое: в Великую Отечественную войну немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по Уральскому хребту: на Востоке — СССР, на Западе — оккупированная немцами Россия. Перед читателем разворачивается альтернативная история государств — советского и профашистского — и история двух молодых людей, выросших по разные стороны Хребта, их дружба-вражда, вылившаяся в предательство.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101065-2

© Чижова Е. С., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Первая | 7 |
| Вторая | 56 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 61 |

Елена Чинова

Китаист

© Чинова Е.С., 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

18+ Содержит нецензурную брань

По вечерам он видит мужчину неопределенного возраста, скорее молодежь. С резко очерченным, осунувшимся от вечных забот лицом. Собранные, близко посаженные глаза. Его недруги скажут: серые. Сам он предпочитает: свинцовые – цвет, придающий вескости самым тихим и вежливым словам.

Его утреннее отражение: строгий серый галстук, крахмальная белая рубашка, дорогой темно-синий костюм. Напоследок, прежде чем выйти из дома, он придирчиво осматривает лацканы. Ищет следы желтизны.

Желтые ликут снаружи.

Слов не разобрать. Да это и неважно. Были бы желтые. Слова найдутся.

Он помнит, как они кричали тогда, пять лет назад, слившись в безумной радости. Неоглядные толпы, подступающие к его ногам как море. Ему слышалось: Таласса! Таласса! – будто зывают не к нему, а к дочери греческого бога Эфира. Сестра Люба усмехалась: «Прямого».

Вспомнив сестру, он, по привычке последних лет, называет ее предательницей. Зачем она это сделала? Наглоталась химии. Наложил на себя руки, оставив его в одиночестве. Ладно бы любовь – чувство, не подконтрольное разуму. Но – «ухожу, отказываюсь быть заложницей коллективного безумия»? Ее предсмертную записку он уничтожил. Во всем, что касается документов, нельзя доверять чужим рукам.

Он думает: желтые неблагодарны. Кто знает, *что* они закричат завтра?

Впрочем, всерьез париться не стоит. Тайные страхи – это нормально. Главное, не поддаваться, держать под контролем.

Он и держит. Не позволяет себе думать про Иоганна, которого постигла судьба предателей. На войне как на войне.

Да, Иоганн погиб под колесами. Он морщится: *погиб* – плохое слово. Такие слова он произносит неохотно, будто отдает дань реальности, с которой порой приходится считаться. Даже ему, отдающему предпочтение другим словам: исчез, остался в прошлом. Прошлое – Россия, где остался не только Иоганн. Но и она, сестра его сестер. И старик, которого так и не удалось переспорить. Выражаясь военным языком, это – приемлемые потери. Как и эксцессы первых лет.

Он готов признать: да, эксцессы были. Что неизбежно, когда на кону стоит великое будущее.

Грандиозный, всеобъемлющий план. Всякие отщепенцы и предатели из синих (ну как тут не вспомнить про Иоганна!) называли его план чудовищным экспериментом. Невелики числом, но уж больно горласты – ну и где они, эти горлопаны, теперь?..

Нет, не они, кичившиеся своей дальновидностью. Это Вернер открыл ему глаза на жизнь. Жизнь *вообще*, а не только российскую. Учитывая его тогдашнюю наивность, это было трудной задачей. Иоганн, во всяком случае, не преуспел. Потому что давил и умничал – чего он терпеть не может.

Как бы то ни было, он не ошибся, поставив на Вернера, обогатившего его словарь дивным словом *симулякр*, похожим на гладкую косточку от крымской черешни. Хочешь – сплюнь, хочешь – катай во рту. Помнится, он спросил: «Ну как это, всеобъемлющее слово? А войну можно описать?» – «Войну-то в первую очередь», – Вернер причмокнул и скривился, будто глотнулпряного коктейля: опивки прошлого, приправленные гнилым настоящим. Питатель-

ная смесь для смертельно больной страны. Это в Европе принято говорить правду. У нас другие традиции. Наши врачи утешают: ну что вы, какие метастазы! Два раза в день, утром и вечером, – и не заметите, как всё пройдет.

Он думает: «Всё, да не всё».

Страна. Империя – единая и неделимая – стоит неколебимо. В вечных государственных границах, больше не зависящих ни от кульбитов истории, ни от козней внешних и внутренних врагов.

«Иоганн мечтал, а я сделал». Он смотрит на свое отражение: губы – тонкие, но жесткие. К старости они сморщатся, как губы Великого китайца.

Счастье, что желтые беспамятны. Год-другой, и всё окончательно успокоится. «Вот тогда, – в зеркале отражается его фирменная усмешка, – мы и займемся историей. Как и с чего начиналось. Будем вспоминать...»

Первая

I

За стеклом гуляла метель. Снежные хлопья, вырвавшись наконец на волю, казалось, летят поперек ветра, но, отброшенные назад чудовищной скоростью рвущегося вперед состава, теряют последние силы, засыпая землю по эту сторону Хребта. Похоже, их гибельный порыв пропадал втуне: толстые белые сугробы уже лежали непроходимым слоем по обочинам железнодорожной полосы.

Нешедрый мартовский взнос в общее снежное дело – слишком малая толика к впечатляющим достижениям русско-сибирской зимы. Так думал молодой человек лет двадцати пяти, сидящий в кресле № 38. Стараясь ничего не упустить, он неотрывно глядел в окно. Первые полчаса там плыли спальные районы, превращающие Москву в любой крупный город Советского Союза: хоть Новосибирск, хоть Челябинск, хоть его родной Ленинград, по которому он, непривычный к дальним поездкам, уже успел соскучиться, но не настолько, чтобы и впрямь затосковать.

Торопясь поспеть за седыми от инея новостройками, пробежали дачные строения в белых пушистых малахаях. Их сменила тайга. Ели, сосны, лиственницы, пихты – высокие деревья, обложенные снежной ватой, стояли по ту сторону ограды, отделяющей режимную зону от девственного леса: на скорости, которую успел развить поезд, крупные ячеи сливались в сплошную сероватую полосу.

Присмотревшись повнимательнее, он понял, что преувеличил разгул метели: снег не столько падает с неба, сколько летит из-под колес. За сутки, пока на здешней линии нет движения, рельсы успевают занести. Разгоряченный металл, соприкасаясь с нетронутым снегом, превращает его в белое облако – оно-то и стелется по земле.

Электрическое табло над раздвижной дверью в тамбур вспыхнуло красными литерами:

СКОРОСТЬ – 190 КМ/ЧАС.

Дождавшись, пока надпись, коротко мигнув, сама себя переведет на нем-русский, он сосредоточился на цифре, которая так и просилась в задачник по арифметике, где, неустанно соперничая друг с другом, бегали поезда с разными, но все-таки сопоставимыми скоростями. В данном случае, учитывая гипотетически скромные возможности даже самого быстрого пассажирского, не говоря уж о черепашьих почтовых, которые ползли из пункта А в пункт Б долгими снежными полустанками, соперничество получалось мнимым.

«Мнимый... – слово-леденец таяло во рту. – Я. Здесь. В этом вагоне... – ища избавления от кислотовато-тревожного привкуса, он провел пальцем по стеклу. Подлинный холод, пронзивший подушечку пальца, – единственное доказательство: – Не сон. *Всё* – наяву».

Ленивое местоимение, которым он, не найдя ничего лучшего, воспользовался, вобрало в себя и волнующий показатель скорости, и белый шлейф, сопровождающий поезд, и это герметичное стекло – надежную защиту от трескучего, царствующего снаружи мороза, и гордость за родную страну, достигшую, кто бы что ни говорил, впечатляющих успехов в народном хозяйстве, и ровные ряды кресел: «Если бы не столики, точь-в-точь как в самолете...» – неудачное сравнение с самолетом только упрочило тревогу. По радио не объявляют, но известно: сизокрылым железным птицам случается падать и биться, особенно здесь, над тайгой.

«Но я-то не в небе, а на родимой земле, – резонное соображение, тем более на самолете он ни разу не летал, снизило накал опасливых ожиданий. Понемногу отходя от понятной в его обстоятельствах робости, он огляделся, отметив ковровую дорожку цвета топленого

молока, пущенную по всей длине вагона. Надо же, чистая... – учитывая московскую привокзальную слякоть, которую месили пассажиры, это казалось чудом. – Платформу, что ли, подогревают?» – если предположить, что в основе первого межгосударственного проекта лежат самые прогрессивные технологии, не такая уж безумная мысль. Новшества могли коснуться чего угодно, а не только конструктивных особенностей подвижного состава. Ему вспомнилась толкучка у турникета: пассажиры прикладывают билеты, провожающие – специальные пропуска-квиточки, которые получают, отстояв очередь в отдельную кассу, – на других направлениях ничего подобного нет.

Красные буквы побежали, складываясь в новую электронную строку:

БЕРКУТ – ВАГОН № 6 – 02.03.1984.

На этот раз, покосившись на девушку, сидевшую в кресле напротив (похоже, его ровесница), он повел себя более благоразумно – подавил неосторожный вздох. Не хотелось выглядеть дикарем, которого изумляют плоды цивилизации. Тем более надпись на табло не содержала ничего особенного: название поезда, номер вагона, число, месяц, год, – всё как у него в билете. Билет и заграничный паспорт. Час назад, чувствуя замирание сердца, предъявил их проводнику. Теперь, прислушиваясь к колесам, отбивающим чечетку на рельсовых стыках, он напомнил себе: «Этот поезд – наше общее достижение. А не только российской стороны».

Сверхскоростную ветку, соединившую две столицы, ввели в эксплуатацию в 1981 году. Проект, который газетчики называли «Великим прорывом» – собираясь в дорогу, он (на всякий случай, мало ли, придется отвечать на неудобные вопросы) сходил в Публичку, пролистал жухлые подшивки многолетней, с походом, давности, – стал возможен благодаря совместным усилиям правящих Партий, внешнеполитических ведомств, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, разработавших и внедривших в производство новое поколение головных и пассажирских вагонов, и, конечно, целой армии строительных рабочих, которым пришлось трудиться в четыре смены, чтобы – всего лишь за одну пятилетку – поднять насыпь, проложить рельсы, а главное – пробить многокилометровый туннель в толще Уральского хребта.

«Правда», «Известия», «Ленинградский рабочий» – все центральные и местные газеты подробно рассказывали о том, как на обеих конечных станциях перестроили и переоборудовали вокзалы, которые и раньше-то походили друг на друга. Но теперь – за исключением незначительных деталей, призванных подчеркнуть особую национальную идентичность каждой из стран-участниц, – их довели до полного единообразия. В передовых статьях то и дело мелькало горделивое словосочетание *вокзалы-близнецы*, поражавшее читателей своей новизной. Несколько месяцев, пока стороны не пришли к общему мнению, в специальных газетных разделах обсуждались повадки пернатых: коршунов, сапсанов, кречетов. (Шутники, упражнявшиеся в остроумии помимо средств массовой информации, предлагали составить нечто двуглавое.) В конечном счете международная комиссия выбрала самого крупного хищника. «Беркут» – этот представитель семейства ястребиных устроил обе стороны.

Единственное расхождение, по которому так и не удалось прийти к компромиссу, – ширина рельсовой колеи. Для себя Россия оставила прежнюю, европейскую. Это одностороннее решение – за которым советское руководство усмотрело следы былой враждебности, вызвало резкую отповедь. Наше внешнеполитическое ведомство, рупор ЦК КПСС, выпустило специальный меморандум, возложив всю ответственность за нарушение сроков пуска железнодорожной ветки на российский Рейхстаг. В ответном меморандуме «их Москва» заявила, что Россия «туточки ваше не при делах», дескать, российские инженеры предлагали недорогое, но весьма конструктивное решение, которое противоположная сторона отвергла без объяснения причин. Обмен жесткими нотами вызвал панические слухи: мол, проект повис на волоске. Или вовсе заморожен. Через год выяснилось, что это не соответствует действительности. За

короткий срок наши инженеры, трудясь стахановскими темпами, создали собственную оригинальную конструкцию – спецприспособление, на жаргоне газетчиков *поддон*. С помощью которого кузов советского вагона легко и просто приподнять и переставить на российскую ходовую часть.

Выступая на торжествах, посвященных открытию прямого сообщения, официальные лица призывали к дальнейшему более тесному сотрудничеству, основанному на взаимном доверии, больше не поминая ни неприятный эпизод с «поддоном», ни-если брать шире – долгий и трудный путь, который СССР и Россия прошли от Соглашения о перемирии, коим завершилась страшная кровопролитная война, до полноценного Мирного договора, подписанного 20 мая 1978 года, – в обеих сопредельных странах одинаково праздничный день.

Ввод в эксплуатацию сверхскоростной железной дороги, соединившей две столицы, стал своеобразным рубиконом, новой точкой отсчета. Начиная с этой даты (листая желтоватые подшивки, он невольно это отметил), исчезло, будто кануло в Лету, прежнее газетное словосочетание, привычное советскому уху: *временно оккупированная территория*. Уйдя из официальной, оно сохранилось в разговорной речи.

Поговаривали, будто на перегоне от Москвы до Хребта каждые десять километров стоят караульные вышки. Слухи, однако, оказались беспочвенны – теперь он убедился: никаких вышек. Только деревья – плыли за окном «Беркута», слегка покачиваясь на ветру.

Неправдоподобно огромная скорость, которую поезд развил на этом, прямом как стрела, участке дороги, смазывала картинку. И стволы, и вечнозеленая масса – всё сливалось в сплошную преграду: не прорваться никакому ветру. Впрочем, ветер и не пытался, довольствуясь одними вершинами, раскачивал из стороны в сторону. Вдруг, ни с того ни с сего, подумалось: «Захочет – прорвется. Ветер – опытный зэк...»

Взглянув на девушку, занимавшую кресло № 39, он поспешил отделаться от этой мысли, однако странная нелепая мысль не исчезала. Скорее упрочилась. Ему даже почудилось, будто деревья по обеим сторонам железной дороги выросли не сами собой. А кто-то, в здешних заповедных местах обладающий всей полнотой власти, вывел их из леса, расставил вдоль полотна, отдав приказ горестно покачивать головами, провожая уносящиеся на Запад поезда. Пожалуй, он бы не удивился, когда, упустив серебристый хвост мгновенно промелькнувшего состава, вечнозеленые деревья выстроились бы широкими лесополосами – по четыре ствола в затылок – и, подчиняясь яростному лаю сторожевых овчарок вкупе с отрывистыми окриками охраны, двинулись в глубь тайги.

Но одернул себя: «Овчарки, вооруженная охрана... Это там, за Хребтом». Хотя здесь это *тоже* было, но раньше, не на его памяти. Местные лагеря перевели на юго-восток, к китайской границе, в конце сороковых.

Кстати, о Китае. Когда мандарин отправляется в путешествие, жители его провинции тоже выходят на большую дорогу и, расположившись друг от друга на некотором расстоянии, ждут, когда их главный начальник проедет мимо, чтобы поприветствовать его особенным образом, пожелать счастливого пути... Он уже было погрузился в приятные тонкости древнекитайских обрядов, но его окликнули.

– Ты до конечной? – Девушка, сидевшая напротив (за все это время она не проронила ни слова, но он все равно различал в ней чужое, выдававшее россиянку. «Немецкая овчарка» – эта мысль явилась, едва он вошел в вагон, на всякий случай сверившись с билетом, пристроил на крюк шапку-ушанку и водрузил на багажную полку синий матерчатый чемодан), не назвала город – последнюю станцию на этой режимной ветке. Оценив ее неожиданную деликатность, он кивнул и почувствовал себя увереннее. Даже пейзаж за окном переменился: теперь ему казалось, будто деревья радостно качают колючими кронами, торопясь пожелать ему доброго пути.

– Ты оттуда? – она махнула рукой против хода поезда.

Сказать по правде, ее назойливое *ты* корбило. Но когда к тебе обращаются, глупо сидеть сычом лишь на том шатком основании, что девушки, к которым привык сначала в школе, а потом в институте, и разговаривают, и выглядят иначе. «Не стоит оценивать захребетников по нашим меркам. На то и заграница, чтобы все другое...» – так он подумал, но вслух спросил:

– А что, заметно?

– Ага. – Узколицая девица, похожая на юркую шучку, кажется, отбросила не только уважительное местоимение, принятое меж случайных попутчиков, но и всяческие приличия: откинувшись в кресле, оглядела его с ног до головы.

Хочет – пускай смотрит. За свой внешний вид он был спокоен. Костюм, пальто, ботинки на меху, даже нижнее белье – трусы, футболки, теплые кальсоны (Геннадий Лукич называл их *егерскими*) – выдали накануне поездки. Вопросами гардероба занимались два младших офицера – один снимал мерки, другой записывал в блокнот. Вещи, аккуратно подобранные и сложенные в чемодан, передали по описи. Переодеться перед самым отъездом. Все старое оставить дома. Таков приказ. Первый в его жизни, под которым поставил свою подпись.

Мать перебирала новые вещи, читала нем-русские ярлычки. На всякий случай у него было готово объяснение: командированным полагаются талоны, спецсекция в ДЛТ на последнем этаже, вход строго по пропускам. Когда надел пальто, мать кивнула: «Теплое. На вырост». В плечах и правда обвисало. Вот тебе и импортное, по меркам. Видно, не всё импортное хорошее, бывает, и перехваливают – подумал про себя. А вслух, сухо и непокладисто: «Значит, будем расти».

На людях мать не плакала, только не сводила глаз. «Как на фронт провожает», – он чувствовал тяжелеющее сердце. Хотелось приободрить, утешить. *Нет уехавших, кто не вернулся бы обратно* – его любимая фраза из «Книги перемен»: толкование к гексаграмме «тай». Хорошо, что вовремя спохватился. У старшего поколения своя память. В их памяти всё наоборот. Уезжают, чтобы никогда не возвратиться.

В вагон мать не вошла. Стояла на платформе, то и дело поправляя волосы. Седоватые пряди норовили выбиться. Когда объявили отправление, он приник к стеклу. Мать уплывала, будто заранее стиралась – как старая фотография от времени. Ловя горестный абрис ее фигуры – из соображений экономии ленинградскую платформу плохо освещали, – он успел осознать: выбившиеся пряди – невинная хитрость. Под их прикрытием мать вытирает глаза...

Замечание, которое позволила себе эта девица, надо признать, слегка расстроило. Хотя какая, в сущности, разница, если в этой конференции он участвует в своем подлинном качестве – советского аспиранта. Геннадий Лукич всегда говорит: самая лучшая легенда – правда.

– И откуда такие выводы?

– Так. – Девица шевельнула пальцами. – Сидишь, как... дерево.

«Как деревянный», – он понял, что имеется в виду. Впрочем, ошибка, которую она допустила, доказывала очевидное: язык, на котором они, случайные попутчики, разговаривают, для нее не совсем родной. Да она и говорила с акцентом – как все, кто родился и вырос в России. Некоторые из наших, он усмехнулся, пытаются подражать.

– Не выдумывай, – решил не чиниться и тоже перейти на «ты». – Долгая дорога. Устал.

– Так ты чо, не с Москвы?

– Я из Ленинграда. «Из всех русских предлогов „с“ – самый опасный. Ляпнешь не к месту – считай засыпался».

– Ой, нимагу, – девица вдруг застонала. – Прямо сдохну, как трещит...

– Где? – он прислушался, пытаясь уловить посторонние звуки.

– Башка. Со вчерашнего. Утром глаза продрала, всё, думаю, писец...

– Бухали? – он решил блеснуть знанием ее языка.

Приезжая в СССР, *эти* гуляют допоздна – Астория, «крыша» Европейской, – ведут себя разнузданно. Дружинники делают вид, что не замечают. А все потому, что захребетники платят валютой. Не слишком твердой. На курсах говорили: в Европе рус-марки считаются валютой второго сорта, вроде индийской рупии. Или египетского фунта.

– Да хрен там... – она вздохнула. – Арбайтали. В смысле, эта... работали. У ваших схема полетела. Делаю замеры, влажность ваще зашкаливает. У вас, грю, цех или чо?

– Так ты... инженер? – он уточнил уважительно. Иностранным специалистам платят огромные деньги, Люба говорила, не сравнить с нашими зарплатами.

– А ты думал – блядь, – девушка улыбнулась открыто и дружелюбно. – Ага, электронщик. А ты студент?

К этому он давно привык. Люди, с которыми он знакомится, вечно приуменьшают его настоящий возраст. Но одно дело – какой-нибудь пожилой дядька, совсем другое – девица...

– Аспирант, филолог, – ответил с достоинством. И уточнил: – Китаист.

– Ну ни хера-а себе! – она пропела восхищенно. – Кроче, нищий. То-то пальтешко у тебя. Типа с покойного прадедушки. – Он не успел обидеться. – Да ты чо! – она махнула рукой. – Филологи и у нас не шибко. Это я – деловая колбаса.

Прислушиваясь к ее фразочкам, от которых крутило и корбило, он думал: «До чего же противный у захребетников язык. Не говорят, а лают...»

Его мысль перебили тихие голоса. Две девушки, одетые в синюю железнодорожную форму, катили металлический ящик на колесах. Тележка остановилась рядом с пожилой парой. Мужчина и женщина, одинаково седые и респектабельные. Сразу видно, иностранцы. Девушка-проводница наклонилась над чашкой высокий темный сосуд. Пахнуло свежим кофе.

– Ну чо, кухуёчку тяпнем? – Его спутница оживилась. – А потом, эта, будем покурить. Надеюсь, ты не рёхнутый на своем здоровье?

– А тут разве можно? – он ответил вопросом на вопрос.

– На вашей стороне – ага. Это у нас ферботен. О народе заботятся. Козлы!

Он внутренне съежился: язык языком, но девушка ведет себя неосмотрительно. Разве можно говорить такие вещи незнакомому человеку? Окажись на его месте кто-нибудь другой... Во всяком случае, с другими намерениями...

Давая понять, что понимает ее юмор, он улыбнулся. А вдруг ляпнула и теперь жалеет? Улыбка должна успокоить, подбодрить.

Металлическая тележка остановилась возле их кресел. Девушка-проводница окинула их обоих коротким прицельным взглядом.

– Чай, кухуёк, галеты, кухен, вафли, – перечисляла скороговоркой, обращаясь исключительно к неосторожной девице. Словно его здесь нет.

– Кофе. Галеты. Одну пачку. Нет, две. Или – нет. Прошу прощения, вафли у вас свежие?

Судя по *кофе* и *прошу прощения*, девица говорила подчеркнуто на сов-русском. Но в устах захребетницы его родной язык звучал, как ему казалось, презрительно.

– Сегодня завезли. – Проводница, та, что с кофейником, откликнулась вежливо.

– А сливки? Надеюсь, натуральные? – девица следила за рукой, осторожно подносящей полную чашку к металлическому столику.

– Сожалею, но сливки – длительного хранения. *Ваши*, – проводница едва заметно улыбнулась: дескать, ее-то не проведешь. Никаким демонстративным сов-русским. – Восемьдесят восемь копеек.

– Что для вас? – вторая обращалась к нему.

– Кофе, пожалуйста. – И, поколебавшись, добавил: – Со сливками.

Следя за чашкой, завершающей опасный путь до его металлического края, подумал: «Обе филологини. На режимных объектах всегда двуязычный персонал».

– Тридцать две копейки. Он потянулся было к карману, но шустрая девица опередила:

– Ой! У меня мелочи вашей до хрена. Всё одно не меняют. – Запустив руку в сумочку, как в тряпочную копилку, высыпала на стол. Отбирая нужную сумму, внимательно вглядывалась в каждую копейку.

Седовласый мужчина, от которого проводницы минуту назад отъехали, взмахнул рукой. Тележка двинулась в обратную сторону. Только сейчас он заметил два чемодана на багажной полке. Еще три, дорогие, кожаные, стояли в зазорах между кресел.

Подняв глаза от пачки вафель, которую внимательно рассматривала, девица поймала его взгляд:

– Наши. Обратно едут. К вам – жратву, шмотки. Кроче, кламоттен и всякое такое... Слышь, а тут чо?

– Вафли. – Неловко подцепив двумя пальцами металлический хвостик, он дергал, пытаясь распечатать сливки. Такие хитрые упаковки доводилось видеть только в кино.

– Да ты чо, мля, – девица откликнулась, растягивая гласные. – По-твоему, я читать не умею?!

Глянув мельком, он сообразил, о чем его спрашивают.

– «Азарт». Вафли так называются.

– На-зы-ваются? – она повторила осторожно, видно, все равно не поняла.

– Ну... – отвлекшись от хитрой коробочки, он подбирал синонимы, – восторг, воодушевление, воля к победе, страсть...

– Страсть? – Она разорвала обертку и вонзила острые щучьи зубки. Прожевала, промокнула губы бумажной салфеткой: – Не, не свежая.

Сладив наконец с неподатливым хвостиком, он вылил содержимое в чашку. Черный кофе окрасился в приятный молочный цвет.

– Хошь? – Девица протянула свою. Сливочная коробочка поблескивала соблазнительно.

– А ты? – не хотелось показаться невежливым.

– Не, я ост-пакеты не жру. Консерванты.

– Нет, спасибо. – Не то чтобы обиделся. Просто решил обойтись своей.

– Кухуёк ничо себе, натуральный, – она сделала глоток на пробу. – А то бывает, растворимый сыплют – ваще отравя.

Он удивился: в СССР растворимый кофе ценится выше натурального, особенно их, российский, каждая баночка – на вес золота.

– Забыл совсем! У меня бутерброды.

– С сыром? – девица откликнулась с радостной непосредственностью.

– С колбасой, докторской.

– Колбаса. Не-е, – детская радость погасла. – Ваша докторская – говно.

«Нет, – он подумал, – тут дело не только в языке». Воспитанная девушка, на каком бы языке она ни говорила, должна поблагодарить, сказать: спасибо, я не голодна. Или что-нибудь в этом роде.

– А правда ваши туалетенпапир в колбасу суют? – девица снова оживилась. – Или правильно: кладут? – она повертела рукой, будто вращая рукоятку мясорубки.

– Добавляют. – Он усмехнулся: «Мифы есть мифы. Тут уж ничего не попишешь». – Ну да. В фарш. Туалетная бумага – дефицит. Как думаешь, почему? Именно поэтому. Но правительство разработало неотложные меры. Принято постановление, я читал в «Правде», – говорил, стараясь не прыснуть раньше времени. – С будущего года планируют добавлять использованную. Прогрессивная технология, замкнутый цикл.

Надо признать, шутка получилась грубой. Но, самое удивительное, девица даже не улыбнулась. Сидела, хлопая синими ресницами. «Мало что невоспитанная. Похоже, еще и дура, – вывод, в его обычной жизни пресекающий дальнейшее общение. – Надо извиниться и пересесть».

– Ну, чо, – девица отставила чашку, – двинули? «Какой с нее спрос? Кто их *там* учит? А тем более приличиям», – он кивнул.

Девица шагала по проходу, покачивая узкими мальчишескими бедрами, обтянутыми чем-то вроде плотного трикотажа. Стараясь не смотреть – хотя взгляд так и притягивало, – он оглядывал вагон. Кроме них и пожилой пары, которая возвращалась в Россию с пустыми чемоданами, насчитал пять человек: еще одна пара средних лет – эти сидели наискось по другую сторону прохода. И двое молодых с ребенком.

Мельком восхитившись послушной автоматикой – прозрачные дверные створки открылись легко и бесшумно, – и не заметил, как оказался в тамбуре.

– Проходите... – парень в синей железнодорожной форме отступил предупредительно. – Прошу, прошу.

– Не. Мы – тут. Курить. Кроче, покурим, – девица ответила вежливой, но холодноватой улыбкой, возводящей между ней и поездной службой стеклянную преграду: видеть можно, дотронуться нельзя.

– Айн момент, – представитель obsługi ничуть не обиделся. Коротко глянув в металлическую пепельницу, закрепленную на пластмассовой поперечине, достал из кармана прозрачный пакетик, вытряс в него окурок, распахнул узкую дверь, над которой светились буквы WC (аббревиатура немедленно погасла), смял мусорный мешочек и, ловко забросив в щель под железной раковиной, закрыл дверь.

«Занято – гаснет. Свободно – загорается. Надо запомнить», – он улыбнулся парню: открыто и благодарно, без всяких искусственных преград, унижающих человеческое достоинство. Но тот скользнул равнодушным взглядом, будто, выполняя служебные обязанности, никоим образом не имел его в виду.

Слегка пристукнув черно-белую пачку, девица выбила две сигареты:

– Хошь?

Он помедлил, но, вспомнив ее демарш с докторской колбасой, решительно отказался.

– Я – свои.

– Как это по-вашему... Хочешь – как хочешь. Ему вдруг вспомнилась грубая частушка про серп и молот: хочешь жни, а хочешь куй. Какой-то идиот нацарапал в университетском туалете: «Думает, если печатными буквами – не вычислят. Захотят – вычислят. Хотя кому он нужен! Туалетный хам».

– Не выношу эту вашу вонь. – Девица ткнула пальцем в решетку вентиляции. – Туда кури.

– Знаешь... – он насупился: «Одно дело – докторская колбаса. И у нас многие не любят. Но *ваша вонь*...» – Если так, могу вообще...

– Ты чо! Обиделся? У нас тоже. До хренища своей воню!

– У вас – не знаю, – ответил ледяным тоном. – Но впредь прошу не обобщать.

– Обо... што? А! В смысле, не делать обшчих выводов. Не, классно ты ваще шпрехаешь! – она щелкнула зажигалкой.

– Обыкновенно, – он пожал плечами, оттаивая. – У нас все так говорят.

– Ага, прям! Особливо на заводе.

– Ну ты сравнила! – он старался выдохнуть в вентиляцию, но струйки дыма не слушались, тянулись в сторону девицы. – На заводе... – хотел сказать: простые люди, но осекся. – Рабочие. А я как-никак филолог. Из интеллигентной семьи. А ты? Из какой... фамилии?

– Мама актриса драматического театра. Межу прочим, ведущая. Отец – главный инженер.

– Начальник? – внутри себя он расстроился и сник. Скажи она хотя бы «служащие», было бы легче. Но отец, сделавший *у них* карьеру... А тем более ведущая актриса. Ну точно немецкая овчарка.

– Начальник, – она кивнула. – Ага.

– Член Партии? – затаился и закашлялся. Впрочем, какой из него курильщик, так, ради баловства.

– Ну. А твой не в Партайке? А чо так? Не приняли?

– Мой отец... – по привычке чуть не сказал: умер, но спохватился: «Да что я перед ней? Тоже мне, цаца!» – Мой отец погиб.

– Катастрофа? Унглюк? Ой, прости, я... – она сложила на груди руки.

Он почувствовал, как перехватывает дыхание: эта девица *ничего* не поняла. Смотрела так, будто в слове *погиб* нет ничего особенного.

Он потушил горький окурок. Хотелось сесть и уткнуться в пустое окно.

– А няня у меня, баба Дуня, из синих. – Не дождавшись его реакции, девица полезла в сумочку. – Забыла совсем. Кроче, сменять.

Глянув искоса, он заметил сверток. Стеклопанные двери бесшумно разошлись, пропуская парня в железнодорожной форме.

– Эй, обменник в восьмом? – она спросила деловито.

– В девятом, не доходя до ресторана, – работник поездной бригады достал салфетку и открыл дверь в клозет. Стоя к ним спиной, тщательно вытирал унитаз.

– Чо встал, двинули, – девица притопнула нетерпеливо.

Он знал, *что* надо ответить: «Сама иди. Меняй... на свои сребреники», – но, покосившись на коротко стриженный затылок, из которого медленно, но верно прорастали внимательные уши профессионала-аккуратиста, представил, как она начнет оправдываться, болтать что ни попадя...

И, представив, неохотно кивнул:

– Ладно. Пошли. В вагоне № 7 пассажиров набралось побольше.

Едва поспевая за девицей, мельком отметил еще одну пожилую пару – и тоже с кожаными чемоданами. За пожилыми расположилась группа молодых мужчин, человек пятнадцать-двадцать – на ходу не сосчитать. Багажная полка проседала под тяжестью их черных матерчатых сумок. Четверо, сидевшие за металлическом столиком, играли в карты, остальные дремали или пилились в окна.

Не устояв на тонких каблучках, девица ухватила за боковину кресла:

– Спортсмены, кроче. Веткамф. Чо, не слыхал? Там, у вас.

«Ах, ну да, конечно...» Чемпионат сопредельных стран – еще одно новшество последних лет – транслировали по телевизору. Программа включала несколько зимних видов: лыжи, хоккей, прыжки с трамплина – он не особенно следил. Все равно рабочие дни начинались с обсуждения очков, баллов и медалей. К немалой радости его кафедральных коллег, захребетников удалось *наказать* почти по всем статьям. От этого слова у него ползли мурашки по коже. Но теперь, не давая воли своим истинным чувствам, даже пожалел проигравших: скорей всего, их ожидают неприятности. «Оргвыводы... то да се...»

За его спиной дружно засмеялись. «Молодцы. Держатся», – мысленно отдав должное мужеству российских спортсменов, вспомнил: пару лет назад, незадолго до пражской зимней Олимпиады, ходили разговоры, будто сборные СССР и России выступают единой командой. Немногочисленные сторонники этой безумной идеи предрекали полную победу русских над всем остальным человечеством – и в личном, и в командном зачете. Число энтузиастов ширилось. Спорткомитет был даже вынужден сделать соответствующее заявление. На первых порах это только подстегнуло слухи: «Сказали – нет, значит – да». Через год понемногу утихло. Сейчас *заединицики* муссируют новую дату – 1992-й. Самое удивительное, что в их рядах оказалась Люба, его сестра. Не родная, единоутробная. Только по матери. Когда заходила речь о сестрах, он неизменно подчеркивал факт половинчатого родства.

– А что им будет? – все-таки не удержался, спросил шепотом.

– Ну... – девица пожалала плечами. – Бабосов не дадут.

Стеклянные створки разъехались, пропуская их в восьмой вагон. Судя по всему, здесь собралась женская команда. В отличие от мужчин, прилипших к креслам, девушкам-спортсменкам не сиделось. Ходили по вагону (раз два он останавливался – пропустить), болтали, сбившись в голосистые стайки. Он вспомнил: в каком-то виде, кажется, в лыжной гонке, россиянки отлично себя показали. А еще, вроде бы, в прыжках с трамплина. Тоже сумели обставить наших девчат. Впрочем, он не был в этом уверен. Трансляции шли в записи. Те виды, в которых советские спортсмены проигрывали, не включались в телевизионную сетку. Результаты этих соревнований дикторы упоминали мельком.

Двери восьмого вагона закрылись.

– А девушкам? Им заплатят?

– Ясно! – его спутница фыркнула, будто он задал глупый вопрос.

– Много?

– Ну там... как когда... – она наморщила лоб. – Бывает, квартиру. Ну или тачку.

– А они... сами награду выбирают?

– Ну ты ваще! Сами-то – черный пасс выберут. Не, – она тряхнула челкой. – Пасс тока капитанам. Слышь, а если капитан – деушка, как по-вашему: капитанша?

– Капитанша – жена капитана. Помнишь, у Пушкина? «Полно врать пустяки, сказала ему капитанша, ты видишь, молодой человек с дороги...»

– Пушкин? А, ну да, – она кивнула не очень уверенно. – Кроче, черный пасс – жесь!

Он пожал плечами, давая понять, что знает, о чем речь, но не хочет вступать в дискуссию. О сегрегации, этом уродливом явлении российской действительности, рассказывали еще в школе на политинформациях, но в самых общих чертах. Подробности он узнал из курса по российскому праву, который им читал подполковник Добробаба, сын известного генерала, Героя Советского Союза, чьим именем названа улица в Москве. Этой теме младший Добробаба посвятил целую лекцию.

В войну паспорта полагались исключительно арийцам: немцам и фольксдойчам. Всем остальным выдавали удостоверения, так называемые аусвайсы, сроком на один год. После подписания Соглашения о перемирии российское правительство провело демократическую реформу. Временные документы обменяли на постоянные, но, в отличие от черных, арийских, с синими и желтыми обложками. Одновременно был принят Закон о госгражданстве, по которому за владельцами черных паспортов (они же – госграждане) закрепили особый статус и связанные с ним исключительные права. Согласно этому закону, действующему и поныне, «черные» – как их стали называть в обиходе, – а также их потомки пользуются так называемой *неприкасаемостью*: они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу, а также личному досмотру. Неприкасаемость распространяется на их жилые и служебные помещения, багаж, имущество, транспортные средства, личную и служебную переписку. Неприкасаемые имеют право выезжать за границу, вести бизнес на специальных условиях, им полагается бесплатное медицинское обслуживание – операции, процедуры, анализы, вплоть до самых дорогостоящих. Комментируя этот параграф закона, полковник Добробаба указывал, что дело даже не в деньгах, владельцы черных паспортов – люди, мягко говоря, обеспеченные. Но в этих клиниках установлено европейское и американское оборудование, о котором другие больницы и мечтать не могут. Добробаба – умный мужик, позволял задавать разные вопросы. После лекции он хотел подойти, спросить: ну ладно бизнес или поездки за границу; но санатории, отдельное медицинское обслуживание, спецпайки, распределители – разве наше начальство не пользуется? Однако поостерегся. Еще неизвестно, как посмотрит, – все-таки выходец из генеральской семьи.

В 1974 году в дополнение к федеральному Закону о госгражданстве Рейхстаг, Верховный Совет России, принял подзаконный акт, согласно которому черные паспорта стали выдавать

представителям низших сословий – за особые заслуги перед Отечеством, но точный список заслуг прописан не был. Каждый случай Государственная комиссия рассматривает отдельно.

«Выходит, и за спортивные достижения. Вообще-то, – мысленно он вернулся к мужской команде, члены которой не показали убедительных результатов, – если светит госгражданство... Я бы на их месте... Бился, как на войне. Вон нашим: особо ничего не светит, а все равно... Сражаются как тигры. – И почувствовал гордость за советских спортсменов, которых не купишь ни благами, ни привилегиями. – Потому что наши не продаются. И это нормально: сражаться за честь и достоинство страны».

В вагоне № 9 справа по ходу поезда был оборудован специальный отсек. В узком простенке светилось табло с какими-то цифрами. Девушка отжала металлическую ручку и толкнула дверь от себя.

Внутри, за загородкой, напоминающей высокий прилавок, сидел парень – тоже в железнодорожной форме, но с голубыми лычками младшего лейтенанта внутренних войск.

– Второго попрошу остаться снаружи, – младший лейтенант поднял глаза. – Спецобслуживание. Осуществляется по одному.

Он смеялся и уже было отступил, но девушка дернула острым плечиком:

– Чо, ослеп? Я – одна, – пошарив в сумке, достала пухлый пакетик и выложила на прилавок. – Этот, – небрежный кивок в его сторону, – охрана.

«Я – охрана?.. Ни фиги себе – шуточки!» Однако парень с лычками не моргнул глазом, будто так и надо:

– Охрана должна стоять в коридоре. Пусть выйдет и ожидает там.

– А я грю – тут, – она блеснула острыми зубками. – Или так, или хер тебе.

Ему показалось, парень занервничал. Заерзал в кресле. Снял трубку. «Ух ты, даже телефон в поезде», – восхитившись мельком, он вдруг почувствовал страх: ей-то, может, и плевать, а ему этот звонок не сулил ничего хорошего.

– Девятый. Спецотсек. Да. Да-да, – покивав невидимому собеседнику, парень положил трубку и уткнулся в какие-то бумажки. Следующие несколько минут, пока дверь не отворилась, так и не проронил ни слова.

– Ну. Что тут у тебя, Кукушкин, стряслось? – Проводник средних лет в железнодорожной форме, но тоже с голубым околышем и лычками, осведомился, впрочем, скорей ворчливо, подомашнему.

Его подчиненный вскочил:

– Да вот, таищ майор. Двое, – развел руками растерянно. – Одного прошу выйти, по инструкции, как положено... А она... эта самая гражданочка, ну, в смысле, фройлен...

– Не в смысле, а именно фройлен. Не веришь? Могу доказать. Где тут у вас?..

– Да я... это, нет-нет, конечно, – лейтенант Кукушкин залопотал совершенно потерянно, но девушка перебила, неожиданно перейдя на чистый немецкий. Монотонно и быстро: кажется, что-то о советских инструкциях, которым она не обязана следовать. А они, если им это не нравится, могут свернуть свои инструкции трубочкой и куда-то там засунуть. Всех слов он не разобрал, но понял главное: девушка позволила себе демарш в адрес его страны.

Ответственное лицо, прибывшее по вызову, надуло щеки и опустило подбородок, будто в своих дальнейших действиях решило положиться на жесткий воротник. «Теперь уж точно выгонит обоих», – хотелось вытереть взмокшие ладони, но удержался, чтобы не выдать страха. И какой-то, что и вовсе непонятно, мучительной тоски.

Завершая презрительную речь, девушка снова полезла в сумочку, откуда достала черный паспорт. Начальственное лицо приняло отрешенно-строгое выражение. Сопоставив фотографию с подлинником, голубой майор кивнул своему подчиненному:

– Обслужить, – и вышел так же быстро, как вошел.

– Да я-то чего, – парень за высоким прилавком заговорил смущенно и примирительно. – Надо мной тоже начальство. Разрешили, я – с превеликим удовольствием... У вас какая сумма?

– А хер ее знает. Буду сосчитать. Или не... – девица наморщила лоб. – Сосчитаю, – развернув свой пакетик, принялась мусолить купюры. Сбилась и начала сызнова. Снова сбилась. – Слышь, – обратилась по-свойски, – Сам, а?

Он думал, лейтенант откажется, дескать, не положено. Но тот достал из-под прилавка поднос и смёл на него купюры, будто вытер тряпкой свой металлический прилавок – ни дать ни взять официант.

Снаружи постучали. Металлическая дверь приоткрылась.

– Занято, – оправдывая неожиданное звание ее охранника, дернул дверь на себя.

Девица с лейтенантом тихо переговаривались. Лейтенант разводил руками и совал ей под нос калькулятор. Таких плоских он прежде никогда не встречал. Наконец, видимо сдаваясь, она махнула рукой.

Лейтенант нажал на кнопку – под прилавком звякнуло. Наружу выплыл железный ящик.

Стоя у двери, он не мог видеть содержимого. Но догадался: рус-марки и рубли. Пачка, полученная в обмен, выглядела заметно тоньше рублевой. Девица пересчитала небрежно и сунула в карман.

Всю обратную дорогу он молчал, обдумывая опасное приключение. Для него оно могло ох как плохо закончиться. «Сняли бы с поезда. Не станешь же им объяснять...»

– А ты решительная, – сев в кресло, не удержался, хотя и понизил голос. – Знаешь, когда пришел старший офицер...

Девица рылась в сумке, выуживала какие-то бумажки, смяв, пихала в пластиковый мешочек:

– А-а... Этот, – надула щеки. Вышло очень похоже.

– Признаться, я слегка опешил. Девица прищурилась.

– Вас хайст?

– Ну... – он задумался, подбирая синоним из ее лексикона. Вдруг, будто срываясь вниз с ледяной горки, выпалил: – По-вашему: охуел.

– Так бы и грил, – она ответила недовольно. – А то выдумывашь, слова типа всякие.

– Ничего я не выдумываю. У нас...

– Да ладно те, – девица пожала плечами. – Баушке своей гони. Заслушалась на ваших заводах.

Ограда, на этом перегоне уже не сетчатая, а сплошная, собранная встык из листового металла, отделяла полотно железной дороги от вечнозеленых деревьев, по пояс увязших в снегу.

– Не заслушалась, а наслушалась, – он исправил ошибку, но в очередной раз сник, признавая ее правоту.

Сверхскоростной поезд – последнее достижение инженерной мысли – летел сквозь густое таежное марево, но в здешних дремучих местах все достижения казались эфемерными, длились ровно столько, сколько требуется составу, чтобы промелькнуть, не оставив никакого следа. Будто поезд и эти ели существуют в разных временах, отстоящих друг от друга на многие десятилетия.

«Ну да, решительная, ловкая, меняет деньги, путешествует, не лезет за словом в карман... – неприятная история не отпускала, вороша сознание. – Думает, она – современный человек. А сама живет в обществе, где действуют мракобесные законы...»

Небо – тугой мешок, набитый снежными тучами, – тяжело провисало, отбрасывая сплошную серую тень. Снова ему чудилось, будто деревья, согнанные к полотну железной дороги, стоят, вперившись в землю, покачивая головами в серых стеганых ушанках – он смотрел поверх

голов, будто примерял на себя роль охранника, готового в случае чего дать предупредительный выстрел.

«Заслушалась... Если рассудить, это слово тоже подходит. Встречаются мастера», – в памяти всплыли замысловатые коленца, которые наворачивает однорукый дядя Паша – во дворе, по выходным, когда мужики забивают козла. Хотел ей признаться: ну да, у нас тоже такие есть, которые неприлично выражаются, но в нашей стране обценная лексика – пережиток прошлого.

Девушка сидела, откинувшись в кресле и закрыв глаза. Будто опустила оконные шторы. Пользуясь ее дремотным отсутствием, он смотрел, уже не таясь.

По лицу, подпорченному неумеренной косметикой, пробегали безмолвные обрывочные тени.

– Не выношу *этих*, – она ткнула пальцем в одно плечо, потом в другое, будто собралась перекреститься, но по дороге запуталась. – Ни наших, ни ваших.

– Ну, ты сравнила! – на этот раз даже не опешил. Обалдел.

«Единственное объяснение... – прежде чем спросить, он взвесил этическую правомерность подобного вопроса. – Да что такого-то! Для них – обычное дело...»

– А твои родители – кто? По национальности.

– Отец фольксдойч. – Девушка и глазом не моргнула. – Из бывшей Польши.

«Ну вот, – он подумал. – Теперь понятно».

– А мама русская. С Нижнего Новгорода. И чо?

Он не ответил, устыдившись своей категоричности: а вдруг ее мать комсомолка-подпольщица, мало ли, не успела уйти, перебраться в СССР. Вышла замуж за черного, чтобы спасти свою жизнь. Не рассказывает о своем прошлом. Бойтся. «Вот и вырастила дуру. Тем более их же с детства обрабатывают. Фашистская пропаганда – не сравнить с нашей».

Пожилая пара дремала. Молодые возились с ребенком, который ударился в капризы. На всякий случай придвинулся поближе.

– У каждого государства свои идеологические установки. Но совсем уж слепо – нельзя. Нам вот тоже твердят: интерсоциалистический строй – самый прогрессивный в мире. Тяжелая промышленность, да, с этим не поспоришь. Металлургия, оборонка. Добывающие отрасли – нефть, газ, полезные ископаемые. Но легкая и пищевая промышленность оставляют желать лучшего...

– Ну и чо? – она перебила, не дослушав. – Мы тоже импорт хаваем. И шмотки китайские.

– Ты бывала в Китае? – Он вспомнил груды дешевого тряпья, в которых рылся, выполняя поручения сестер. – А я, между прочим, дважды.

Думал, удивится. Две поездки в Китай в его возрасте – удача, тем более командировки. Сестра Вера откровенно завидовала: «И как это у тебя получается?» – в ее вопросе ему чудился намек: дескать, нормальные студенты не ездят, а ты вроде как особенный. «Я-то здесь при чем! Жюри. Отбирают лучшие работы», – отвечал, с каждым разом все тверже в это веря. Люба тоже завидовала, но Люба хитрая, не признается, только усмехнется: «Курица не птица, Китай не заграница. Нос не задирай».

– Так это что, тоже китайское?

– Чо – это?

– На тебе. Свитер и... – хотел сказать: брюки, но отчего-то постеснялся. – Сапоги.

– Да ты чо! Чистая Европа, – девушка отставила ногу, демонстрируя высокий сапог на молнии. – Меня-то хрен разведешь! Кроче, элементарно. Куда все смотрят? На лицевую. А главное – чо? Изнанка. Выворачиваешь, шупаешь: нашел косяк – всё, аутфидерзейн вашей баушке...

«Удивительно у нее устроено, – не особо вслушиваясь в дельные советы, он сверлил ее лоб упорным взглядом, точно надеялся проникнуть в черепную коробку. – То схватывает на лету, то не понимает самого элементарного...»

– А обманывают кого?

– Ну, ясно, желтых! – она дернула острым плечиком. – Дак они и сами рады. С их-то зарплатами...

Девушка тараторила без умолку. Упустив нить ее бессмысленного повествования, он повторял строки, застрявшие в памяти: *Вагоны шли привычной линией, та-та-та-та-та и скрипели, молчали желтые и синие...* – будто на музыку, они накладывались на стук колес.

– Ей! Ты чо, мля, заснул? Он вздрогнул:

– Извини... Я...

– Кроче, стою, ловлю такси. Глядь, маршрутка. Дай, думаю, попробую. Синие-то ездят. Залезаю, сажусь. Блокнот открыла. Расчеты типа проверить, через час презентация. Голову поднимаю: тыц-пердыц! – Лиговка. Прикинь, уже за Обводным...

– Так ты... из Петербурга? – он вдруг обрадовался, хотя, казалось бы, ему-то какая разница.

– Ну да. Чо мне ихняя Москва... А этот, желтый, еще и рожей крутит: надо предупредить, вас типа много... Меня, грю, *не много*. Это вас, грю. Хыть жопой ешь.

В детстве, впервые услышав, подумал: китайцы. Желтая раса. А мы – белая. Потом, конечно, разобрался. В прежней Германии закон обязывал евреев нашивать на одежду желтые звезды. Евреев в России нет, а желтый цвет остался.

– Не-е, китайцы – молодцы. Весь мир обшивают. А вы чо не покупаете? Деньги копите?

– Копим? С чего это ты взяла?

– Ну... – девушка пошевелила пальцами. – Если я зарабатываю, а потом не покупаю, значит – чо? Коплю.

– А ты копишь?

– Мне-то на хрена, – она надула губы обиженно. – У фатера бабла как грязи.

– А зачем работаешь?

– Я чо, дура што ли! Дома-то. Со скуки помереть. Ему понравился ее ответ: «Правильно. Так и надо. Не сидеть у родителей на шее». Тем с большим воодушевлением продолжил:

– А тебе не приходило в голову, что мы вкладываем. Оборонная промышленность, разведка полезных ископаемых. Я уж не говорю про *космос*, – последнее слово он произнес с нажимом: может, хоть это ее проймет. Четырнадцать лет назад СССР первым в мире вывел на орбиту искусственный спутник Земли. Первый космонавт – тоже наш, советский. В этой области их Россия отстала безнадежно.

– Космос? – она сморщила носик. – Дак это ж не для людей.

– А для кого?! – он чувствовал, как закипает.

– Для государства, – девушка глянула победительно, видимо, воображая, будто сумела загнать его в тупик.

Самое странное, он действительно растерялся: разве объяснишь то, незабываемое, десять лет назад. Март, а будто середина лета: советский человек в космосе! Мальчишки кричат: Ура! Космоснаш! Взрослые идут, смеются, космоснаш, обнимаются – незнакомые, прямо на улице. Вечером, когда сели ужинать, мама вдруг заплакала: «Я ведь... Раньше понимала, а теперь... сердцем чувствую. Всё, кончилась война». Даже он, пятнадцатилетний, ощутил вкус этой настоящей победы.

– Послушай-ка, – все-таки решил сделать еще одну попытку. – Если кто-то указывает на черное и говорит: белое...

– Белое и черное? За стеклом на фоне синего неба (и не заметил, как распогодилось) плыли вечнозеленые деревья.

– Да какая разница! Ну пусть желтое и синее. Какой ты сделаешь вывод?

– Вывод? – если и задумалась, то на мгновение. – Этот человек – дальтонист.

– Дальтоник, – он поправил машинально, осознавая тщетность своих усилий, но в то же время отдавая должное щучьей ловкости, с какой девица увильнула от прямого ответа. – Вот ты говоришь: *наши и ваши*. Ставишь на одну доску.

– На... доску? – она переспросила, будто снова стала иностранкой, не знающей его родного языка.

Он усмехнулся, давая понять, что принимает условия игры:

– Сравниваешь, находишь общее.

– А ты? Не находишь, не ставишь на доску?

– Я – нет. Потому что, – отбросив словесные игры, он говорил серьезно. – Есть вещи, которые противоречат элементарной этике.

– Этике. Этике, – она повторила, словно заучивая новое слово. – Ты решил улучшить мое нравство?

Он отодвинулся, сколько позволила жесткая конструкция вагонного кресла. «О чем разговаривать с человеком, чей активный лексикон не включает понятия *нравственность*? – Миролюбие как рукой сняло. Сидел, бросая злые пронзительные взгляды, но даже этого казалось мало. – Всё, с меня хватит!» Решительно встал и снял с крючка пальто.

II

К ночи погода снова испортилась. Ветер, шатаясь за стеклами, выл с такой свирепой выразительностью, что казался огромным волком. Отрешенно и дисциплинированно сидя в кресле – теперь уже под № 44 (в китайской нумерологии четверка – благоприятная цифра, а две – вдвойне), – он попытался вернуть в родной контекст вырванную цитату: *Ну, барин, – закричал ямицки, – беда, буран!* – но и это не помогло.

Дикий зверь не отставал – серой тенью неся за поездом, то припадая к грешной земле, то разметывая в полете сильные мускулистые лапы. Катюшки снега, впившиеся в шерсть, разлетались, прошивая ледяной шрапнелью нетронутые сугробы. Пространство, рассеченное поездом, мчалось назад с чудовищной скоростью, жадно втягивая в себя, точно заглатывая, то огромный кусок Западно-Сибирской равнины, то огни небольшого города, вспыхнувшего слева по курсу, то кружевные пролеты моста над безымянной рекой. Отбив положенную порцию морзянки в отзвук торопко стучащим колесам, железнодорожный мост мелькнул и исчез.

Молодые с ребенком раскладывали постели. Точнее, уже застилали. Он пожалел, что упустил самый важный момент: непостижимым образом их кресла превратились в широкие спальные полки. Должно быть, есть какая-нибудь тайная кнопка. Или рычаг... На всякий случай обшарил подлокотники, но, так ничего и не обнаружив, решил дожидаться проводника.

Чертов проводник исчез, как сквозь землю провалился. Вдобавок ко всему ломило шею, точно не сидел в удобном мягком кресле, а натаскался чего-нибудь тяжелого.

За окном стояла тьма: непроглядная, как забытье человека, изработавшегося до смерти. Мать рассказывала, в первые годы после эвакуации совсем не видела снов: «Можешь себе представить, даже в блокаду видела, тогда нам снилась еда. Горы еды. Каша, картошка, блины со сметаной, огромные куски свинины, боже мой, как пахли... Казалось, протяни руку – бери и ешь... А проснешься, холод и чернота. Потолок, стены... Даже щеки черные. Но я не глядела в зеркало. Воображала, будто все наоборот. Сон – настоящая жизнь, а жизнь – это так, пройдет. Главное не просыпаться... Потом, когда тебя ждала, – мать покраснела, – врач наказал: гулять побольше, а я – читала. Как с цепи сорвалась – глотаю книжку за книжкой, будто напоследок...» – «Почему напоследок? Боялась, что умрешь?» – «Нет, – мать улыбнулась. – После блокады, когда спаслись, мы в смерть не верили». – «Но здесь же тоже умирали». – «Умирали, да, – она говорила отрешенно, будто силилась что-то объяснить, даже не ему, сыну, себе. – А смерть все равно там, в Ленинграде...»

Ветер, воющий оголодавшим волком, вроде бы отстал. Черной сплошной стеной плыли деревья, зеркально отражая мутное пространство вагона, ровные ряды кресел, так и не обернувшихся спальными полками. И его бледное лицо – будто он там, снаружи, летит, держась вровень с поездом: но не такой, как в жизни, а размытый – точно на старых, чудом уцелевших фотографиях: широкие скулы, нос с едва заметной горбинкой, лоб, мать говорила, отцовский. Он провел пальцем по виску и вздрогнул, узнав отца.

Отец смотрел на него из темноты. Будто воспользовавшись разрывом во времени, секундным, длящимся ровно столько, сколько требуется поезду, чтобы промелькнуть мимо серого ряда советских заключенных, согнанных к полотну железной дороги. «Нет! Нет! Не хочу!..» Отвечая его беззвучному отчаянному крику, отцовская фотография, на мгновение прилипнув к стеклу, отшатнулась, словно ее отбросило порывом ветра...

– Вам помочь? – над ухом раздался тихий вежливый голос.

Он сглотнул закипающие слезы.

– Мне показалось, вы не знаете, каким образом здесь все устроено. Если вы позволите... – Старик, тот самый, с пустыми чемоданами, говорил на старомодном русском.

Он встал и вышел в проход.

Старик сунул руку за обивку кресла и пошевелил пальцами – жест, каким ослабляют гайку. Зайдя с тыльной стороны, дернул и толкнул. Спинки сложились, будто пали ниц, чтобы в следующее мгновение – точно коленопреклоненной почтительности мало – распластаться у самого пола. Он оглядел широкое ложе и в который раз за сегодняшний день восхитился находчивостью инженеров-конструкторов: «Ух!»

Прежде чем вернуться на свое место, его нежданный спаситель указал на серебристую щеколду. В узком длинном ящике обнаружилось одеяло, подушка и комплект постельного белья – белоснежного, благоухающего свежестью, будто сушили на морозце. Расправляя простыню, он пожалел, что забыл спросить про лампочку, но свет, горевший над стариновским изголовьем, уже погас.

Поворочался, устраиваясь на упругом ровном матрасе, никак не желавшем принять форму его тела – не то что привычный, домашний, в котором успел пролежать уютную ямку. Немного крутило желудок: «Солянка, слишком жирная», – теперь она стояла в горле, как-то нехорошо и горько отрываясь. Он жалел потраченных пяти рублей: в университетской столовой можно купить четыре комплексных обеда. Если бы не остальные пассажиры, ни за что бы не соблазнился. Но не хотелось выглядеть белой вороной.

Закрыв глаза, однако сон не шел. Теперь у него не было сомнений: «Ее отец – фольксдойч. Значит, воевал. Но выжил. А мой...» – прислушался, словно надеясь что-то расслышать в ровном стуке колес, но поезд скользил бесшумно, будто оторвался от рельсов и, опровергая законы физики, летел, не чуя под собой земли.

Он отлично понимал: это невозможно, в физическом мире нарушаются только законы исторической справедливости. Например, закон войны. В одной из своих работ (забыл название) Ленин разделил войны на освободительные и захватнические. Цель последних – порабощение чужих народов и стран. Вождь мирового пролетариата утверждал: агрессор не может одержать победу. Но если так, значит война, которую развязали фашисты, должна была завершиться их полным и сокрушительным поражением.

В действительности всё закончилось иначе. Теперь, вглядываясь в темноту, он видел политическую карту, висевшую над его письменным столом. Черная прерывистая линия, идущая по Уралу, рассекала бывший СССР по вертикали, наглядно демонстрируя несправедливый итог Второй мировой войны. Эту карту он повесил еще во втором классе, когда однажды, слушая радио, замер: почему они говорят о победе, которую одержали советские войска? Ответ он получил через несколько лет, прочел в учебнике истории: СССР, первое в мире государство рабочих и крестьян, сражаясь в одиночку, без поддержки тех, кто на словах именовал себя

союзниками, все-таки сумел остановить натиск захватчиков. Как в древности – Русь, принявшая на себя удар татаро-монгольской орды и тем самым спасшая Европу от многовекового ига, – так и мы остановили оголтелого фашистского зверя, на которого работала едва ли не вся Европа. Не говоря уж о миллионах пленных – дешевой рабской силе.

В младших классах он зачитывался романами по военной тематике. С их страниц прямо в его сердце проникала подлинная трагедия военной жизни: города и населенные пункты, которые советские войска – под напором превосходящего по мощи и живой силе противника – были вынуждены оставить, залиты реками крови. Вражеской. Немецкой. Но, главное, русской, своей. Из котлов, куда попадали сотни тысяч, выходили хорошо если десятки. А бывало, и единицы.

Как после битвы за Сталинград.

Последние уцелевшие бойцы, чудом прорвавшиеся сквозь кольцо оцепления, оставили город после двух лет тяжелейших уличных боев. Не повернется язык назвать их отход отступлением, если в качестве победного трофея врагу достались покрытые копотью развалины, черные пепелища, под которыми гасли последние языки пламени, да обгорелые тела защитников, еще несколько часов назад стоявших насмерть. Головные подразделения СС, вошедшие в город на плечах вермахта, пилились на трупы, скрученные жгутами агонии, – тех, кто, будучи ранен, не сдались в плен, покончив с собой. Страшная судьба постигла и мирных жителей – специальная команда СС, присланная для предотвращения угрозы весенней эпидемии, выбирала их из месива, оставшегося от некогда вырытых траншей. Часть из них заживо сгорели в балках, где люди прятались годами, но большинство не погибли, а умерли с голода. Последних собак и кошек, поджаренных на живом огне развалин, съели в страшном январе 1944-го, когда вокруг обреченного города окончательно замкнулось фашистское кольцо. Уцелевшие рассказывали о случаях каннибализма, когда живые ели погибших – своих. Но как проверишь? В книгах о таком не пишут.

Затяжные бои за Урал, в которых наши войска, прочно закрепившись, удерживали высоты, были столь же яростными. По железным дорогам, проложенным от восточных тыловых окраин силами советских заключенных, шли на запад тяжело груженные платформы, крытые брезентом: опытный глаз различил бы контуры тяжелых зенитных батарей. Туда, на передний край, отправлялось все, о чем давно забыли в тылу: мясные консервы, яичный порошок, рис, греча, макароны, китайский спирт – из него получались знаменитые наркомовские сто грамм.

К 1956 году, когда заслугами советских дипломатов было подписано Соглашение о перемирии, накал противостояния ослаб по одной-единственной причине: ни с той, ни с другой стороны почти не осталось мужчин призывного возраста. Оба противника понимали: дальше этими силами воевать нельзя. Надо ждать, пока родятся и подрастут новые поколения. И все-таки, учитывая долгие годы кровавого противостояния, переговоры оказались трудными. Посредником выступило руководство так называемых союзников.

Ни Великобритания, ни тем более США уже ничем не рисковали. «Антигитлеровская коалиция» – понятие, которое он, вслед за авторами школьных и университетских учебников, мстительно закавычивал, – открыла второй фронт только в сорок пятом. По версии американских и европейских ученых, это случилось 8 мая. В советской историографии принята другая дата. Этот день он не любил. Отрывая листок календаря, смотрел неприязненно, словно беспристрастная история пичкала его откровенной ложью: 9 мая 1945 года – ему всегда казалось, будто в этот день могло случиться нечто неизмеримо более важное и прекрасное.

Но приходилось мириться с фактом: войска «антигитлеровской коалиции», не встретив особого сопротивления со стороны ослабшего противника, прошли по Западной, а затем и по Восточной Европе. Военный поход союзников завершился на довоенной границе СССР. За этот рубеж США и Великобритания не заступили, объявив, что дальше начинается зона ответственности Советского Союза. Учебники утверждали, что эту ответственность его страна

несла еще долгие десять военных лет. Однако о том, что «миру – мир» следующих поколений стоил половины территории, доставшейся фашистам, полагалось молчать.

Таким образом и определились границы Четвертого Рейха: от Украины до Урала, от Кольского полуострова до Большого Кавказа. (Впрочем, часть Кавказа отошла Турции, вступившей в войну после Сталинграда.) В 1970 году – по требованию ФРГ, решительно отмежевывавшейся от прежнего преступного режима, который родился и окреп в ее колыбели (к этому времени Старая Германия уже восстановила разрушенное войной хозяйство и начала накапливать экономическую силу, чему немало способствовали щедрые займы, предоставленные Соединенными Штатами), – Новая Германия, замкнутая в пределах некогда европейской части Советского Союза, была переименована. Названа Россией.

В том же 1970 году СССР, успевший залечить самые глубокие военные раны, запустил первый искусственный спутник, которому радовались, но тогда еще не кричали *космонаш* – будто слово еще не созрело, а только завязывалось, как зародыш, растущий из двух родительских клеток. Так совпало, что по биологии как раз в те дни проходили тему размножения: картинка из учебника, над которой хихикали его одноклассники. Молодая учительница краснела: «Остальное прочтете сами, параграф шестой». Он прочел, но так толком и не понял. Как не понимал до сих пор, каким образом где-то в глубине, в самой толще народа, в его лингвистической матке, созревают самые главные слова.

Мать рассказывала: в войну все было просто. Агрессоры: немцы, фашисты, фрицы. Им противостоят *наши*: русские, украинцы, белорусы, евреи, татары – до войны об этом никто не задумывался. Советские люди – единая интернациональная общность. Это потом слово *наши* применительно к населению, оставшемуся на оккупированных территориях, исчезло. Он спрашивал: «А когда? Сразу или постепенно?» Этого мать не знала. Но он не сдался, специально отправился в Публичку, в газетный зал. Там-то и выяснилось: газеты военного времени находятся в спецхране; чтобы получить, необходим специальный запрос-отношение, подтверждающий, что он пишет научную работу по данной теме. Библиотекарша объяснила: бумага оформляется по месту работы, надо, чтобы ее подписал непосредственный начальник, в его случае завкафедрой, и завизировал Первый отдел. Мелькнула мысль о Геннадии Лукиче, но решил не беспокоить шефа по пустякам.

Он сам прошел все круги согласований и все-таки получил на руки: желтоватые подшивки послевоенной «Правды», пахнувшие пыльной историей. Но никаких *наших* там уже не было. Вместо них мелькало определение *нем-русские*, в котором слышался другой, подспудный смысл: русские, но немые, лишённые родного языка. Казалось бы, тоже двусложное существительное, будто рожденное естественным путем из мужской и женской клеток, но *космонаш* – крепкий здоровый парень, готовый к труду и обороне, а этот – убоженок, стыдобища, урод. Теперь нем-русскими называют все население России, включая *фашистов* (по теперешним временам тоже опасное слово, его не встретишь ни в газетах, ни тем более в официальных документах). Впрочем, в обиходе прижилось другое, уничижительное: *захребетники* – объединяющее всех, кто живет за Хребтом.

Текущая внешняя политика СССР строится на безоговорочном признании итогов войны. Официальные лица ведут себя так, будто окончательно смирились с геополитической катастрофой – распадом некогда единого советского мира на две независимых державы. Хотя в первые послевоенные годы внутри страны царили совсем иные настроения. Несмотря на победные реляции начальства, большинство населения относилось к новым границам как к исторической несправедливости: рано или поздно они должны быть, а значит будут, пересмотрены. Возможно, с помощью Лиги Наций. До войны этой всемирной организации – в той или иной степени успешно – удалось урегулировать множество политических конфликтов. Называли даже цифру: более сорока. Основным ее успехом считалось предотвращение нападения на Маньчжурию со стороны Японии: потенциальному агрессору пригрозили серьезными экономиче-

скими санкциями вплоть до полной изоляции. Однако санкции, наложенные на Новую Россию, к успеху не привели. Главным образом по вине США. Соединенные Штаты, цинично игнорируя решения международного сообщества, наладили взаимовыгодное сотрудничество с российской хунтой. Дошло до того, что, окончательно утратив связь с реальностью, Россия попыталась вступить в Лигу Наций, но СССР, еще с довоенных времен обладавший правом вето, эти попытки пресек.

Нет, память о пережитых страданиях не ушла. Советские люди не хотели войны – ни тогда, ни теперь, по прошествии десятилетий. В этом смысле миролюбивая политика Партии и правительства встречала всеобщее и полное одобрение. Особенно старшего поколения, погруженного в каждодневные заботы: отстоять очередь за мясом или, если вдруг завезли, за яблоками; сдать в прачечную белье – химчисток и прачечных до сих пор не хватало, к тому же вещи часто терялись, а если не проверишь, могли подменить еще крепкий пододеяльник на рванный; достать масляной краски для ремонта кухни – и не синей или зеленой, а приятного сливочно-кофейного цвета.

Сам он презирал бездуховную суету. Благоустройство жизни и быта – застрельщиком нового поветрия выступала интеллигенция, но оголтелое потребительство, эта чума капиталистического мира, постепенно распространялась на другие городские слои, а судя по многочисленным радиопередачам, посвященным растущей зажиточности колхозников, и на сельское население. Впрочем, он, ленинградский мальчик, имел довольно смутное представление о колхозной жизни, которую сестра Люба определяла как кошмар и убожество. Но Люба вечно преувеличивает. Пожимая плечами, он думал: «Ей-то откуда знать?»

Казалось, с утратой европейской части страны смирились. И все-таки он верил: если однажды по радио объявят, что советские войска перешли Уральский хребет с целью вернуть оккупированные фашистами территории, ни один голос не поднимется против. Разве что каких-нибудь отщепенцев, предателей, внутренних врагов, агентов российского влияния. Их он не то чтобы ненавидел – ненавидишь тех, кого знаешь, – скорее, презирал как исчезающе малое меньшинство, на которое глупо оглядываться. Хотя к самим захребетникам испытывал более сложные чувства: в глубине души жалел «желтых» и «синих», оказавшихся под оккупацией не по своей воле и вине.

Другое дело – черные. Раньше думал: если когда-нибудь доведется встретить, наверняка будут корчить из себя сверхчеловеков, колоть глаза своей несправедливой победой и пользоваться любым поводом, чтобы намекнуть на жирный кусок территории, который сумели у нас оттяпать. С этой мыслью и собирался в командировку в Россию. Однако разговор с попутчицей его удивил. Про войну она вообще не заговаривала, даже наоборот, делала вид, будто СССР и Россия в чем-то сравнялись. Еще один черный, с которым вступил в разговор, – добрый старик, вызвавшийся помочь с креслами.

«Выводы делать рано. Первые впечатления обманчивы... – Желудок снова заныл. К тому же ужасно хотелось пить. – Потому что жирная. Наверняка наши готовили... Напихали какой-нибудь дряни. Колбасы, небось, еще и несвежей». Приходилось признать: в этом отношении девица, заказавшая нем-русский суп с клецками, права. Ему и самому хотелось супа, солянку заказал в пику ей.

«Столько лет прошло, а общепит никак не наладят. Только и кивают на захребетников. Дескать, им-то еще хуже. Уж лучше временные трудности, чем жизнь под оккупантами. Конечно, лучше. И не возражишь...»

Хотя попадались и такие, которые вели разговорчики. Этого он терпеть не мог. Дай болтунам волю, все бы развалили: и металлургию, и нефтяную промышленность, и оборонку – лишь бы жить как захребетники.

Нынешняя Россия слабый враг. Конечно, их дело, пусть живут как хотят, тем более нам это только на руку. По силе и мощи российской армии не сравниться с советской. А все потому,

что основное внимание их правительство уделяет внутренним войскам. Оно и понятно: какой бы мирной и стабильной ни казалась обстановка, всегда остается вероятность, что покоренное население в какой-то момент восстанет.

Он повернулся, сбрасывая жаркое одеяло.

Не он один. Большинство советских мальчишек, родившихся в послевоенное время, тайне мечтают о восстановлении былого величия, когда СССР занимал одну шестую часть суши. Но если вслушаться, можно расслышать и другое: каждый шестой на Земле – советский человек. Он представлял себе человечество, пять миллиардов, построенных в одну шеренгу: по единой команде каждый шестой делает шаг вперед...

Пусть не сейчас, когда-нибудь. К тому времени он успеет защитить диссертацию. Кандидатам наук полагается бронь. Но это ничего не значит, он сам пойдет в военкомат, запишется добровольцем.

Рывком спустил ноги. Повернул голову к окну.

В детстве мать отвечала: твой отец – добрый, честный, храбрый, жаль, не сохранилось фотографий, ты сам бы увидел, убедился. Он так и представлял: силача и великана, похожего на Дядю Степу, героя своей любимой книжки. Но однажды, кажется, в пятом классе, в какой-то старой сумочке: сунул руку, а там... Карточка, снимок. На обороте фамилия, имя, отчество. И дата: 1956. За год до его рождения: белобрысый, грустные глаза, и плечи какие-то щуплые, – ошибка, однофамилец, нет, не может быть. Мать всплеснула руками: о господи, вон же она, а я-то рылась, искала, знаешь, тогда мы надеялись, война кончается, у него бронь, думали, не призовут. При чем здесь бронь? Отец, которого он воображал, уходил на фронт добровольцем.

Смотрел, как мать разглаживает мятые уголки, будто стирает из его памяти. Потом действительно забыл.

Когда вступал в комсомол, выдали анкеты. Написал: *пал смертью храбрых* – в графе «отец». Как все, у кого погибли отцы. Например, отец его сестер. На другой день вызвали в комсомольскую комнату. Старшая вожатая выдвинула ящик, достала его анкету: «Ты не имеешь права. В твоём случае следует писать *погиб*, – зачеркнула, исправила своей рукой. – Возьми домой и перепиши».

Вечером он вышел на кухню – мать крошила лук. Нож постукивал о деревянную доску: тук-тук-тук. «*Погиб* – значит пропал без вести». Тук-тук-тук. «Но ты... мы получили похоронку. Ты сама говорила». Тук-тук, тук-тук-тук. «Вдовам полагается пенсия. Пошла оформлять, а они говорят: вам не положено». – «Но почему?!» – «Сказали, не исключено, что ваш муж попал в плен». И снова: тук-тук-тук – стучала ножом по дереву, будто боялась сглазить: а вдруг и вправду жив.

Пленными обменялись после Соглашения о перемирии. Казалось, он слышит ее мысли: если тогда не объявился, а вдруг все-таки выжил, остался в России? Неужели для нее – так лучше? Этого он не мог понять.

Просто смотрел. Тук-тук. Мать отдернула руку. На безымянном пальце выступила капля крови. Она слизнула языком. Никогда не разрешала слизывать, всегда говорила: промой и заклей. Мать подняла руки, почему-то не одну, а обе, будто тоже сдалась на милость проклятых победителей. По левому запястью бежала красная струйка.

Тук-тук-тук... Стучали колеса. Мать стояла перед глазами: седая, с поднятыми руками. Нет, теперь, по прошествии стольких лет, она уже не надеялась. Знала, что не выжил. Когда он закончил школу, сказала прямо: «Твоим сестрам повезло. На их отца пришла похоронка. Ты уже взрослый, должен понимать, – голос, тусклый, померкший, не оставляющий никакой надежды, – *погиб* – клеймо, останется на всю твою жизнь. Всюду, куда ни придешь, придется заполнять анкеты...» Мать говорила и говорила, словно давно хотела выговориться и теперь воспользовалась случаем. Красная струйка бежала и бежала. Он остановил поток ее слов: «Промой и заклей».

Будто очнулась. Смотрела огромными глазами – у страха глаза велики. Матери и отцы. Их поколение натерпелось страхов: война, эвакуация, тяжелое послевоенное время – годы чудовищных лишений. Его сверстникам такое и не снилось. Если и застало – краем, в самом раннем детстве: он помнит майские дни 1963-го, когда отменили карточки. Накануне ему исполнилось шесть лет. Еще через год начали сносить бараки. В шестьдесят пятом въехали в старую-новую квартиру. Мать доказывала, обивала пороги: одно дело – вдовья пенсия, с этим она давно смирилась. Другое – жилье. Тогда все пытались доказать. Единственный способ: предъявить документы на прежнюю жилплощадь, оставленную под врагом. Ордер либо бронь. А у них ни того, ни другого. Счастье, что сохранились довоенные жировки: улица Братьев Васильевых, бывшая Малая Посадская, дом 6, в первом дворе. Сам он жировок не видел. Но однажды слышал, как мать делилась с соседкой: «Только представьте! Собирались в спешке. Два пакета: в одном семейные фотографии, в другом – жировки. Я возьми да и перепутай».

До войны, в прежнем Ленинграде, семья занимала три комнаты, маленькие, смежно-изолированные: три поколения, большая семья. «Мы с мужем, – мать загибала два пальца, – его родители, – еще два, – потом родились девочки...» – переходила на другую руку. После войны на всех хватало одной руки: мать, сын, дочери-двойняшки.

По ту сторону Хребта его сестры были тройняшками: Вера, Любовь, Надежда. Год рождения 1941-й. Надю украли летом сорок четвертого, когда ехали в эвакуацию. На полустанке мать вышла за кипятком, а когда вернулась... Конечно, бегала, кричала. Будто бы видели какую-то женщину: чернявая такая, похожа на цыганку. Несла маленького ребенка, а вашей девочке сколько? Не-ет, у чернявой маленький совсем, грудной...

Люба сказала: «Немудрено. Блокадные дети – кожа да кости. В чем душа держится. Вот и приняли за грудного». Мать ужасно рассердилась, даже голос повысила: «Какие там грудные! Наоборот: будто маленькие старушки. Тогда так и говорили: ленинградские дети. Все на одно лицо. А вы, – обращалась к обеим выжившим сестрам, – как-то особенно, даже я не различала. Это я уж так – Надя... А может, Люба или Вера... Не знаю, – мать теребила передник, разглаживала на коленях, – надо было остаться... Искать. На том полустанке. А как представишь: одна, в чистом поле, с двумя детьми. Не ровен час, попали бы под немца...» Это тогда, он хорошо запомнил, Верка ляпнула: «Ну попали бы, и что? Всё лучше, чем так, впроголодь, в треклятом бараке...» – «Дура! Да как ты можешь!» – Люба в крик. Мать засуетилась: «Тише, тише... Ребенок, здесь ребенок...» – «И что?! – Верка обернулась яростно. – Пусть послушает, узнает, в какой он живет стране...»

Сестры вечно цапались, он привык, не обращал внимания. Потом все равно мирились. Мать говорила: «Мои девочки – не разлей вода. Даже куклы: у Любы – Вера, а у Веры – Люба». Однажды чуть не спросил: «А у Нади – Надя?»

«Ну? В какой?! – Люба вскочила, руки в боки. – Скажи, скажи!» – «В такой», – Вера вышла из комнаты, хлопнув дверью. Мать смотрела вслед. Он запомнил ее глаза. Потом взялась за сердце. Медленно, будто неохотно. Люба кинулась капать валерьянку. Верка плакала, просила прощения, клялась, что ничего *такого* не думает. Самое смешное, *антисоветщицей* стала Люба. Но позже, лет через пять. Нет, конечно, это слово он произносил не всерьез, просто поддразнивал. Антисоветчики – враги СССР, предатели. А Люба патриотка, только понимает патриотизм по-своему. У нее критический склад ума.

А у Веры – наоборот. Особенно когда вышла замуж за комсомольского работника. Теперь, когда сестры спорили, ему иногда казалось, будто Вера – Люба, а Люба – Вера. А Надя так и осталась Надей.

На другой день мать все-таки слегла. Врач сказал: «Ничего страшного, обыкновенный невроз. Надо себя шадить. И сына напугали. Сразу видно, впечатлительный парень».

Мать избегала длинных слов, а тем более медицинских терминов. Он тоже не любил слово «невроз». Впервые услышал в детстве, когда в поселок приехал врач. На осмотре мать

пожаловалась: «Не знаю, что и делать, доктор. Вроде нормальный здоровый ребенок, а стоит понервничать – рвет». Врач сказал: «Ничего. С детьми это случается. Вырастет – все наладится. Валерьянки надо попить или пустырника. У вас же рядом лес». Мать, городской человек, кивала потерянно.

Доктор обратился к нему:

– Ты во что любишь играть?

– В собаку, – он прошептал едва слышно.

– У вас есть собака? – доктор изумился, даже обернулся к матери.

– Нет-нет, – она заторопилась. – Разве прокормишь. Это он так.

– Тебе кажется, будто у тебя есть собака?

– Нет-нет, – снова мать ответила за него. – Он сам, – она отчего-то смутилась. – Воображает себя собакой, – приложила пальцы к губам, будто испугалась, что сказала лишнее.

– И часто? – Ему показалось, доктор обиделся. Подумал: тоже, небось, хочет, да у самого не получается. Хотел сказать правду, пусть еще сильнее завидует. Но мать схватила его за руку:

– Нет-нет, ну что вы... Раз или два было... Спасибо, большое вам спасибо, – потащила к двери, – заварим всё, что вы рекомендовали, попьём...

Спасибо. Но не завистливому доктору, а бабе Анисье. Сушила пахучие травы.

Он закрыл глаза и увидел: просевший угол их барака, седая старуха за занавеской, про нее болтали – ведьма, а все равно ходили лечиться. Она бормотала над каждым больным и слабым: *Мать сыра земля, поглотит черную ядовитую змею кровью, уйми всякую гадину нечистую от приворота и лихого дела... Как здорова земля, так и твоя головушка была бы здорова... Выйду в чисто поле, поклонюсь на все четыре стороны, кости твои – каменные скалы, корни деревьев – жилы, вода – студеная кровь...*

Пациенты являлись к ней за полночь. Потом, через много лет, однажды услышал: Люба сказала маме: а помнишь, они поднимали занавеску, входили как в святая святых. Мама ответила: не выдумывай, они входили как тени. Другие взрослые, живущие в их бараке, нарабатываясь за день, спали мертвым сном. Он один не спал, слушал, складывал в долгий ящик ночного сознания: кости – отдельно, жилы – отдельно. Как-то раз спросил у матери: что такое студеная кровь? Этого мать не знала. Или знала, но не хотела говорить. Теперь уже никого не спросишь: та старуха давно умерла.

Но мать ее поминала: «Царствие небесное, земля ей пухом, совсем из ума выжила, перед смертью все просила, я для вас же старалась, без меня бы перемерли, сгинули, сымите грех с души, принесите за меня жертву, которую не жалко, хоть теленка, хоть поросенка... Откуда у нас телята? Смешно, – но мать не смеялась. – Хлеб – и тот по карточкам... Но я все равно ей благодарна».

Он не сразу понял, что означает это материнское *все равно*. Над ним бабка Анисья не причитала. Давала пить травы. Но всё без толку. До того случая в столовой, когда вырвало в последний раз – и как рукой сняло. Он запомнил длинный деревянный стол. За столом женщины. Единственный мужчина в засаленном ватнике, по одному пальцу на каждой руке. Вместо других – культяпки. Он старался не глядеть. Дядька сам: протянул руку за солью – будто ткнул в него корявым пальцем.

Ладно бы – в тарелку, а то прямо на стол. Сидел, съездившись, смотрел, как женщины встают и, морщась, пересаживаются. Мать кинулась, принесла тряпку и тазик. Пока она мыла, он смотрел на культяпого мужика: это же не я, это он виноват.

– Его фашисты пытали? – все-таки спросил, но не в столовой. По дороге домой.

– Дяденька инвалид войны. Ему пальчики оторвало. Миной или снарядом. – Мать успокаивала, но он не верил.

Тогда, на кухне, когда мать резала лук, он тоже ей не поверил, и правильно сделал. Все сложилось как нельзя лучше: Восточный факультет Ленинградского университета, специали-

зация: китайский язык. Распределение на кафедру, перспективная научная работа, к тому же связанная с зарубежными командировками. «Ну вот, а ты: анкета, анкета...» Мать кивала, словно признавая свою неправоту...

«Что ты будешь делать...» – живот крутило нещадно. Придерживаясь рукой за боковину полки, он выбрался в проход и взял курс на стеклянную дверь.

Вступив в пустой тамбур, отжал металлическую ручку – буквы WC потухли, – затворил за собою дверь. Расстегнул иностранную застежку-молнию, неподатливую – пальцы привыкли к советским пуговицам. Не приступая к делу, осмотрелся. Первое, что бросалось в глаза: чистота. Необыкновенная, вплоть до отсутствия брызг на раковине, на полу, на ободке унитаза. Будто до него туалетом никто не пользовался. «Ну, это-то чудо объясняется просто, – он вспомнил проводника-аккуратиста, ушки-на-макушке. – Вышколены... Работают добросовестно».

Совесть – лучший контролер! – всплыл послевоенный лозунг, висевший в торце барака. В СССР до сих пор в ходу. Плоды деятельности этого контролера он наблюдал нынешним утром в пассажирском поезде «Ленинград – Москва», когда мочился, стараясь не вдыхать миазмы, казалось, вытеснившие последний воздух.

Покряхтел, сидя на унитазе. Встал. Тщательно подтерся. Морщась, нащупал собачку молнии. «Чертова солянка... Вот уж прочистило так прочистило...» В поисках рычага спуска оглядел сливной бачок. Ничего похожего. На всякий случай даже поднял глаза: будто надеялся обнаружить навесной, с цепочкой, – как в родной коммуналке.

– Да где ж тут у них? – присев на корточки, шарил за унитазом, пробуя все, что попадалось под руку: какие-то трубки, краны, крепежи.

«И что теперь? – встал, приник к двери ухом. – Или оставить *так*?» На внутренней линии вышел бы, не задумываясь. Но здесь, где полным-полно захребетников...

Вдруг будто с шумом и шелестом развернулась политическая карта, на которой, упершись в эту землю обеими ногами, он стоял в абсолютном одиночестве, а там, за его спиной, необозримая ширь, населенная соотечественниками, гражданами Советского Союза. В замкнутом пространстве ватерклозета он – их единственный полномочный представитель. Осрамиться – значило: осрамить.

В тамбуре зашуршало. Он топтался, чуя подошвами изгибы карты, горящей под ногами, как родная земля.

Снаружи постучали.

«Делать нечего, надо сдаваться...» – он подавил нелепое желание поднять руки и отвернул собачку замка.

– Ферцайн зи... – Женщина держала на руках ребенка, будто предъявляя причину своего нетерпения.

– Я... Понимаете, дело в том... Я – в первый раз... – стараясь не дышать, будто тем самым задерживал и ее дыхание, свел пальцы в кулак, ухватывая воображаемый рычажок.

Она спустила ребенка с рук и протиснулась боком:

– Хир. – Ткнула пальцем круглую плашку. В стене, прямо над бачком. Хлынуло шумным водопадом, смывая весь его ужас и позор.

– Спасибо, – он почувствовал краску, обливающую шею и щеки.

– Махт нихтс, – ее глаза засмеялись. Давая ему дорогу, женщина отступила в тамбур. – Я, када впервой...

Он не дослушал. Ринулся прочь. Стеклянная дверь, не ожидавшая такой прыти, едва успела избежать столкновения с его головой.

Досадное приключение осталось в прошлом, однако не исчезало, подступало досадливым вопросом: «Что сказал бы Геннадий Лукич, если бы узнал?»

Он замер, будто вытянул руки по швам – как всегда, когда думал о Геннадии Лукиче.

Изумление – первое чувство от их встречи: давно, еще на третьем курсе, теперь уже пять лет назад. Перед ним сидел человек, чья профессия, казалось бы, не предполагала глубокого погружения в гуманитарную культуру, но главное, что поразило, – речь. Будто не офицер внешней разведки, в обиходе – *грушник* (на вопрос: что делаете? – курсанты отвечали: груши окочачиваем), а как минимум университетский профессор. Впрочем, далеко не каждый профессор обладает таким словарным запасом, а главное, умением находить точные, но в то же время глубокие и емкие формулировки. В отличие от идиотов-старцев с кафедры истории КПСС. Всё, что они ни изрекают, становится глупостью и пошлостью – любая здравая идея: патриотизм, уважение к собственной истории. И сам не заметишь, как изверишься. А тут еще сестры: вечно спорили о политике. Когда схватка особенно накалялась, спохватывались, выгоняли его из комнаты. Он слушал, таясь под дверью. Вера горячилась, защищала своего комсомольского работника. Школьником он с легкостью принимал ее аргументы. С годами картина мира усложнилась – пожалуй, уже со второго курса все чаще стоял на Любиной стороне.

Еще одно изумление, не менее, если не более сильное. Люба как-то обмолвилась: «У *этих*, которые вербуют, два излюбленных метода». Но Геннадий Лукич не пугал и не соблазнял. Наоборот. В продолжение долгой беседы не раз повторил: «Вы – человек талантливый, в науке справитесь и сами. Наша помощь не сыграет решающей роли». Он слушал, напряженно думая об отце. *Здесь* читали его анкету, а значит рано или поздно разговор свернет на эти рельсы. И тогда они загонят его в тупик.

«Я... Не знаю. Это так неожиданно...» Вдруг поймал себя на том, что уже не уверен в своем будущем ответе: да или нет?

«Понимаю, – его визави кивнул. – Больше того, разделяю ваши чувства. В сомнениях воздержись – я тоже сторонник этого принципа».

Уважительный тон выбил почву из-под ног. Почти физически он почувствовал, как напряглись его внутренние весы: чаша отказа против чаши согласия. Стало страшно. Потому что представил, как выходит из темного здания, бредет по улице, садится в автобус, сворачивает к своему дому, поднимается по лестнице – и каждый его шаг становится гирькой-разновесом на одну или на другую чашу: чет или нечет? Инь или ян?..

Господи, только не это. Как затравленный заяц бросается на охотничью собаку, вдруг – совершенно сознательно, делая шаг в пропасть: «Мой отец не пал смертью храбрых. Он *погиб*». Выдавил из себя признание, которое, если все-таки верить матери, раз и навсегда избавляло от выбора. Неважно, в ту – или в эту сторону. Главное, решало *вместо него*.

По пути домой раздумывал, но так и не понял: *как* же это случилось? А ведь могло, могло повернуться иначе, если бы Геннадий Лукич выбрал другие слова – мертвые, захваченные чужими руками: мол, сын за отца не отвечает, ваш отец был советским человеком, он сражался за Родину, дав согласие, вы продолжите дело отца. И то, и другое, и третье – глупость и несусветная пошлость, достойная беседы с недоумком.

Но Геннадий Лукич ответил строго и сердечно: «Отец – святое. Ни при каких обстоятельствах не следует отрекаться. Отцы – наша трудная история...» Будто прочел его тайные мысли, казалось, невыразимые никакими словами. В этот миг он и загадал: если заведет про новые свершения и испытания, которые ожидают героический советский народ в недалеком будущем...

«История непредсказуема, – Геннадий Лукич, точно вспомнив о чем-то важном, сделал пометку в календаре. – Надеюсь, вы меня понимаете?»

«Ну да, – он промямлил, слыша свой лживый голос. – Надо верить в светлое будущее».

«Это само собой, – Геннадий Лукич поднял глаза, пронзительные, цвета мокрой стали. – Но в данном случае я говорю о прошлом: то, что казалось истиной, со временем может обратиться в свою противоположность».

«В смысле, диалектика?» – он сделал последнюю попытку вырваться из круга, очерченного умным и опытным противником.

«Единство и борьба противоположностей – частный случай. Я имею в виду *полную* трансформацию: когда факт, казалось бы непреложный, становится ложью, а вера – правдой. Уверен, вы тоже об этом думали, нет?»

«Да, – он почувствовал закипающие слезы и испугался, что сейчас заплачет. – Мой отец *погиб*. Но я... не верю. Потому что это – *всего лишь* факт».

То, первое впечатление стусеивалось года через два. Со временем понял: не столько гуманитарная культура (хотя по-своему шеф – человек образованный), сколько высокий профессионализм. Окончательно утвердился в этой мысли, став свидетелем одного разговора.

Парень, его ровесник или немного постарше, – ему показалось, тихий, вежливый, скромный. Но с ним Геннадий Лукич разговаривал иначе: сомнительные шутки, развязные дворовые интонации.

«Кто это?» – думал, шеф скривится презрительно: мол, ерунда, не стоит внимания, но Геннадий Лукич ответил: «Исключительно способный паренек. Из рабочей семьи. Учится на юрфаке. Советую запомнить – пойдет весьма далеко. Если, конечно...» – «Будет работать над собой», – он улыбнулся, повторив любимое выражение шефа. Думал, Геннадий Лукич тоже улыбнется, но тот будто не услышал: «Если история повернется в правильную сторону...»

Тогда он и сделал вывод, может быть, самый важный: с каждым человеком, попадающим в поле его зрения, Геннадий Лукич разговаривает не на своем, а на его языке. Люба – как раз в те годы сестра погрузилась в религиозные искания, тайком ходила в церковь – сказала бы: как апостол Павел.

Это имя он услышал впервые. «Ну темнота! – сестра фыркнула. – Из Евангелия. Пребывают все три – Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них больше. Понял?» Если честно – нет. Думал, зачем она об этом, ведь Надя умерла.

Вечером, вернувшись домой, попытался последовать совету шефа, но сколько ни напрягал память, тот невзрачный парень исчез. Напрочь, будто надел шапку-невидимку. Однажды показалось, встретил. Мельком. Их курс проходил практику. Его группе досталось НН: наружное наблюдение, на языке их Управления – *наружка*.

Но все лучше, чем халдеем: другая группа практиковалась в Доме дружбы – официантами, обслуживала банкеты с участием иностранных гостей.

Он-то полагал, что объект будет условный. Как в тире – не живой враг, а болван. Оказалось, художник-нонконформист встречается с иностранцами. Руководитель практики даже назвал фамилию. За два часа, пока длилось его дежурство в парадной (пост НН – на пятом этаже, объект наблюдения – на шестом), этот имярек так и не высунул носа.

Заступая на пост, он не рассчитал время, явился минут на пять раньше: парень-невидимка спускался по лестнице. Тусклая лампочка, плохой свет. Он прошел мимо. До сих пор не уверен, может, и другой оперативник, которого принял за *того*...

Всякий раз, проезжая площадь Льва Толстого (угловой дом, вторая парадная), вспоминал своего тогдашнего подопечного. Художника. Гадал, что с ним случилось? Если враги не завербовали – конечно, ничего. Сидит небось в своей мастерской.

А вдруг продался захребетникам? Об этом не хотелось думать. Судьба предателей известна.

Иногда ему казалось, будто Геннадий Лукич – его отец.

Нечто похожее – ну нет, конечно, слабее, – с ним было и раньше, когда встретил товарища Мо Цзы. Учитель в их интернате. Официальное название «Школа-интернат с преподаванием ряда предметов на китайском языке». Создание таких школ – идея Лаврентия Павловича Берии, который полагал: в будущем СССР должен создать единый военно-политический блок с Китаем, чтобы противостоять капиталистическому окружению.

В те времена, когда он шел в первый класс, портреты Берии – Великого полководца и дипломата, спасшего Отечество в годину испытаний, – висели на каждом шагу. Это он, Берия, провел тотальную мобилизацию, поставив под ружье возрастные группы, которые считались непригодными к регулярной армейской службе, – Люба шипела: погнал на убой стариков и детей; наладил производство самых современных видов вооружений – под руководством Сталина, умершего в 1946-м, этот вопрос так и не был решен.

После XXI Съезда КПСС, развенчавшего культ личности Л. П. Берия, славословия заметно поутихли. О военных достижениях Верховного Главнокомандующего стали говорить сдержаннее, не то чтобы вовсе их отрицая, но будто впервые задумавшись о цене, которую заплатила обескровленная страна. Тогда китайские интернаты перепрофилировали. Вместо них появились новые школы, сперва английские и французские, потом даже немецкие. Хотя в немецкие детей отдавали неохотно. Кто мог предположить, что через десять лет геополитические интересы СССР повернутся в сторону России?

Но его интернат остался: по недосмотру РАЙОНО, а может, и по какой-то иной причине. Это сейчас туда не пробиться – устраивают исключительно по блату. А пятнадцать лет назад набирали по микрорайону. Как говорится, *с улицы* – впрочем, его одноклассники действительно росли во дворах. Безотцовщина. Теперь принято говорить: дети из неполных семей. Окончательно он осознал это на выпускном, когда стоял на сцене, смотрел в зал. На скамьях сидели матери. Ни одного мужского лица.

Переезд из барака, трудная учеба. Иероглифы, иероглифы... Зубрили до тошноты. Бог с ними, с точными науками. Физика, математика – учителя входили в положение, не особенно спрашивали. Не хватало времени даже на историю и литературу. Нет, книги он, конечно, читал, но чем дальше, тем все больше урывками, от случая к случаю.

Товарищ Мо Цзы, маленький сморщенный человечек (на русский лад – Моисей Цзынович; Моська – по-школьному: не только за сходство с пекинесом, но и за дружбу с физкультурником. Белояр Рюрикович – бывший тяжеловес, гора мышц, человек-слон). Моисей Цзынович преподавал китайский в старших классах: жидкая борода, точно рвали, да недовыврали; кланялся как ванька-встанька; когда пугался, прикрывал рот ладошкой, будто опасаясь неосторожного слова – шустрого воробья. Вылетит – не поймает, как в тот раз, когда Васька Малышев спросил: «Моисей Цзынович, а вы бывали в Тибете?» – как раз накануне проходили по географии. Моська испугался, хотя, казалось бы, что здесь такого: подумаешь, Тибет...

Обретался в школьном общежитии – директриса выделила комнатку, маленькую, метров шесть. Моськины личные вещи помещались в картонном чемодане. Все остальное казенное: стол, кровать, тумбочка, два стула. Особо любопытствовавшие пользовались замочной скважиной. «Ну, чего он там?» – «Ничего. Читает». Через год выяснилось: читает, но не всегда. Иногда раскладывает карточки.

Долго отнекивался, тряс бороденкой, но потом все-таки объяснил. В мире противостоят два начала: темное (*инь яо*) и светлое (*ян яо*). Все изменения как в личной, так и в общественной жизни объясняются их противостоянием.

«Мозно предсказать любые, самые слозные, изменения, – раскладывая карточки, Моська бормотал на своем смешном русском, пришепetyвая, но в то же время словно напевая. – Но это – лелигиозный идеализм. Плимитивная диалектика, отлазающая стремление класса рабoвладельцев любыми средствами уделзать свое господство». Последние слова товарищ Мо Цзы произнес твердо, почти не пришепetyвая, завершив предостережение цитатой из Энгельса: о притяжении и отталкивании противоположностей, которые в определенный момент обязательно сливаются, образуя новую сущность. Или что-то в этом роде – никто особенно не вникал. Девчонки теребили карточки:

«Моисей Цзынович, а вы на что гадаете? А правда исполнится? А нам – можно?»

Моська моргал испуганно. Как всегда, когда сразу много вопросов.

Девчонки гадали на счастье и несчастье. Радовались, когда выпадала гексаграмма «сянь» – три нижние линии символизируют молодого мужчину, три верхние – молодую женщину: все вместе это означает «встречу мужа с женой». Парни попробовали и бросили: слишком сложно и туманно. Он держался до последнего, но потом тоже забросил. Если бы не дипломный проект, позже, в университете, старые гадальные карточки так и валялись бы в столе.

Хотя не так уж и сложно, скорее витиевато – но у китайцев это в обычае. Моська терпеливо объяснял: мало знать значения отдельных слов. *Наступишь на иней, близок крепкий лед* – казалось бы, описание природы, а толкование совсем другое, оно написано на обороте, но Моисей Цзынович не поворачивал, помнил наизусть: *Едва придет беспокойство, как за ним нагрянет беда*. Кто-то, кажется Валька Скоков, спросил: «Ну и что тут такого? Взять русские пословицы: *Сколько волка ни корми...* – тоже не про волков». Моська закивал, будто соглашаясь. Потом-то убедились: по сравнению с русскими пословицами китайские – темный лес.

То, что в школьном просторечии называлось карточками, на самом деле *И-Цзин*, великая «Книга Перемен». Философские взгляды, изложенные в этой древней книге, можно определить как стихийную диалектику и ранний примитивный материализм. Когда выбрал тему диссертации, он подробно изучил все исторические обстоятельства.

– Представления о темном и светлом началах возникли и получили дальнейшее развитие при династиях Шан и Чжоу. Истоки этих представлений связаны с наблюдениями за природой: темные и светлые начала рассматриваются как свойства, внутренне присущие материальным предметам и вещам. В древности считалось, что их противостояние вызывает развитие и изменения. Лишь со временем эти рассуждения приобрели более широкий смысл, превратившись сперва в философские категории, а позже в инструмент управления государством. Тогда Чжоуский правитель Чэн-ван и учредил должности трех высших чиновников: *великий учитель, великий наставник и великий пестун* – их служебные обязанности заключались в рассуждениях. Вывод, который уже тогда был сделан: самый эффективный способ управления государством – гармонизация темного и светлого начал.

– Ишь ты! А я-то полагал, это мы, грешные, придумали. Оказывается, умные люди жили и до нас. – Геннадий Лукич очень заинтересовался его темой. – Ну-ну, продолжай.

– Чэн-ван был первым, кто приказал гадать по «Книге Перемен». В то время рабовладельческий строй переживал период упадка...

Шеф слушал внимательно, даже делал пометки у себя в блокноте:

– Рабовладельческий – понятно. И без китайцев знаем. Скажи-ка: а что они понимали под гармонизацией?

– Мой учитель, Моисей Цзынович, говорил: нет ничего темного, что не может стать светлым; нет ничего светлого, что рано или поздно не становится темным, – вдруг почувствовал неприятное томление в желудке. Будто сболтнул лишнего. «Да нет, – поспешил себя успокоить. – Вроде бы...»

Казалось, шеф не обратил внимания:

– Значит, все-таки слияние... – Геннадий Лукич произнес едва слышно, почти про себя. Потом засыпал вопросами: каким образом это происходит? При каких условиях? Можно ли ускорить процесс?

– Да я и сам не все понимаю, – он решил: лучше признаться честно. – Проблема в том, что приходится работать с подлинниками...

– Как? – Геннадий Лукич удивился. – Разве не существует переводов?

– Нет-нет, – он заторопился. – Конечно. И даже несколько, но очень уж неполные. Особенно комментарии: понимаете, у китайцев много разных школ. Одна противоречит другой... В общем, трудно. Хотя, я слышал... – он вдруг споткнулся.

– Ну-ну, смелее.

- До войны... Говорят, существовала одна рукопись. Но в тридцать седьмом...
- Фамилия? – шеф не дослушал про тридцать седьмой.

Пришлось объяснять, что не помнит, в каталоге Публички этот автор не значится.

По дороге домой вспоминал сморщенную ладошку, которой прикрывался Моська: неужели все-таки подвел старого учителя?.. Вечером – улучил момент, когда мать вышла из комнаты, – спросил: «Один человек сказал: нет ничего светлого, что рано или поздно не становится темным. Как думаешь, ему ничего не будет?» Люба пожала плечами: «Смотря какой человек. Ты, что ли?» Покачал головой. «А кто при этом присутствовал?» – умная сестра как всегда зрила в корень. «Да так, многие... – Дома про Геннадия Лукича не знали. Шеф предупредил, не надо болтать лишнего: враги человека – домашние его. Видимо, пошутил. – Вот ты, если бы услышала, как бы это поняла?» – «Не знаю, отстань!» – Сестра стояла у шифоньера, прикладывала к голове недовязанную шапочку. Свяжет и распустит, как Пенелопа, только непонятно, кого ждет. «Люб, ну мне правда надо». – «Как-как? Да как угодно. Например, докторская колбаса: раньше была вкусная, а теперь... Или, вон, – ткнула пальцем в зеркало. – Круги под глазами. И, заметь, темные». – «А раньше были светлые?» – подпустил шпильку. «Раньше вообще не было».

Слава богу, обошлось. Теперь, лежа в темноте, он думал: вернусь, надо навестить Моську. Не из-за той истории. Рассказать про диссертацию – пусть старик порадует. А еще про Китай: мол, ездил, видел своими глазами. Наверняка тоскует по родине...

Самое удивительное, та рукопись нашлась. Уже через неделю.

– Прошу, можешь использовать, – Геннадий Лукич протянул картонную папку. – Признаться, я тоже пробежал. Шелухи много, но в остальном китайцы – молодцы. Надо же, слияние темного и светлого... Главное обосновать теоретически, а практика приложится. Как у Ленина, а?

Осторожно развязывая папку, подумал: у Ленина вроде бы наоборот, практика – критерий истины.

– Но тут же... – на титульном листе фамилия переводчика была замазана черной тушью. – В диссертации полагается делать ссылки. А здесь...

– Слушай-ка, – шеф спохватился, – а ведь я так и не пообедал. Догадываюсь, что и ты. – Снял телефонную трубку. – Алевтина Дмитриевна, голубушка, организуйте-ка чаю с бутербродами. На двоих... Нет-нет, это лишнее... Колбаска – замечательно... Любишь докторскую колбасу?

Он кивнул неуверенно.

– Теперь о главном. Наша сила в единстве: нефтяники, сталевары, железнодорожники, горняки, проходчики, долбившие мерзлый грунт, и те, кто работал на приисках, и ученые, и солдаты Советской армии... Чьи-то фамилии мы знаем, другие – их имена неизвестны, но все они сделали великое дело: удержали страну. Спасли от окончательного распада...

«От окончательного распада...» – за этими словами ему почудилась бездонная правда, которую затушевывали привычные победные реликвии, навязшие на зубах.

Женщина в кружевном передничке и с белой наколкой в волосах внесла поднос, прикрытый бумажными салфетками:

- Снять, Геннадий Лукич?
- Спасибо, я сам. Кстати, как ваша дочь, выздоравливает?

Женщина заговорила про больницу, что-то про операцию и лекарства, шеф кивал сочувственно, спрашивал, не надо ли вмешаться. Он не слушал, почему-то вспоминал того старика: довоенный знакомый матери – изредка навещал ее по старой памяти. Давно, еще в детстве. Потом исчез.

С этим стариком мать вела особые разговоры. Однажды, когда речь зашла о пропавших фотографиях, тех самых, вместо которых вывезла оплаченные жировки, сказала: «Может, и

к лучшему. Пришлось бы вырезать». Он понял, о чем она: альбом, семейный, соседки по бараку. Вместо лиц то и дело попадались пустые овалы. Тетя Рая никому не показывала, он сам залез под лежак. Потом, когда рисовал людей, некоторым вырезал лица, думал: так надо. Но у соседки аккуратно, бритвой. Если по карточкам выдавали бритвы, мать меняла их на хлеб. Приходилось большими ножницами, портновскими, – сперва протыкал, вырезал потом. Получались пустые шары. Мать спрашивала: а это у тебя кто, марсиане? Про марсиан читали лекцию в клубе: есть ли жизнь на Марсе?

Как все глуховатые люди, старик говорил слишком громко: о нормах выработки – они назывались *кубики* (он не удивлялся новым словам – с каждым годом их только прибывало: маргарин – раньше был только комбиджир, кровать – раньше были нары, полотенце – раньше тряпка). О жирах, которых катастрофически не хватало, старик говорил с уважением. Как и о мерзлом грунте – в нем вымораживали вшей. Он слушал и запоминал: с вечера выкопать ямку, спрятать в нее рубаху, засыпать землей, но так, чтобы краешек торчал, например рукав. К утру все вши повылазят, обсыпят как белым инеем. «Тише, тише», – мать пугалась, подходила к двери, выглядывала в коридор. Голос старика становился глуше. Потом их надо давить, топтать обеими ногами. И снова о бригадирах и десятниках, выживавших на чужой крови. Мать опять за свое: «Тише, тише...» Притаившись в другой комнате, он слушал о темной стороне светлой советской жизни. Слушал и верил старику.

Однажды тот упомянул *гребенку* – он подумал: это о гнидах – потомстве недовымороженных вшей. Беловато-прозрачные бочонки, прилипшие к волосам, сестры вычесывали частыми железными гребенками. В детстве мать говорила: слава богу, ты у нас мальчик. Можно сбрить.

Оказалось, гниды ни при чем. Старик рассказывал о поезде. Еще довоенном. Их куда-то везли, долго, месяца два. Он думал: СССР, конечно, огромный, но все-таки не бескрайний. Шестидесят дней – впору обогнуть земной шар. Некоторые пассажиры пытались убежать, прямо в пути, – чему он дивился восьмилетним разумом: не могли дождаться остановки? Старик сказал: дырки в полу. Пробивали, надеясь съежиться, перележать между рельсами. Для того и гребенка, которую крепили под днищем, – чтобы зубья разорвали их в клочья.

Когда подрос, он понял, что это был за поезд. И кто такие они – те странные пассажиры. Но в гребенку не слишком верилось. Думал, тюремный миф.

Казалось бы, Геннадий Лукич говорил о том же самом: о непомерных испытаниях, выпавших на долю советского народа, но – иначе, не различая темной и светлой стороны: будто во славу общей победы они уже слились в единое целое, как и предсказывали великие китайцы древности. Да, он верил старику, но Геннадию Лукичу – *тоже*. И дело не в словах. А в том, что в устах Геннадия Лукича эти безликие слова о спасении Державы обретали подлинную вескость, как если бы про шкаф говорил столяр, про жареную картошку – повар, а про мерзлый грунт – старый глухой зэк, вышедший на волю по амнистии после XXI съезда КПСС...

Женщина в белой кружевной наколке вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.

– Дочь у нее в больнице, – Геннадий Лукич разливал чай. – Тебе как, покрепче?.. Есть люди, которые полагают, что победа, одержанная такой ценой, вовсе не победа. И я их не осуждаю. Скорей мне их жаль. У этих людей своя, маленькая правда. Сам я предпочитаю жить с большой. Как ты говорил: учитель, наставник и пестун? – Пододвинул тарелку с бутербродами. – Моисей Цзынович – твой учитель. Неизвестный автор – наставник. А я, будем считать, пестун. Выходит, мы все делаем общее дело. Так что работай на совесть, не подведи...

Без этой папки он ни за что бы не защитился. Спасибо неизвестному наставнику. Кстати, колбаса оказалась очень вкусной. Не сравнить с той, что покупала мать.

Мысли о Геннадии Лукиче вернули пошатнувшуюся уверенность. Он чувствовал, что наконец засыпает. Перед глазами морщилось что-то большое и белое: как в детстве, когда мать набрасывала на шкаф старую простыню. Поэтому он совсем не удивился, когда у нижнего

края выступил кадр из его любимого диафильма: *Вдруг белая простыня приподнялась, из-под нее вышла черная курица: – Алеша, Алеша, побудь со мною!* – кто-то, невидимый в темноте, читал низким мужским голосом. Подумал: «Мама, где же мама?» – и в тот же миг узнал голос Геннадия Лукича.

Он попытался разлепить тяжелые веки, понимая: наяву *так* не бывает. «Значит, все-таки сплю? – проверяя себя, поднял и вытянул руку: – Или... нет?» – но виделась не одна, а две руки, причем обе правые: одна висела в воздухе, другая, зыбкая, точно очерченная пунктиром, осталась на одеяле.

«Виноват, любезная Чернушка, впредь не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня туда; ты увидишь, я буду послушен...» – теперь он читал сам, своим собственным еще детским, неокрепшим голосом.

Странность заключалась в том, что он чувствовал себя маленьким мальчиком, но *одно-временно* знал: он уже вырос, стал взрослым человеком, который помнит себя мальчиком, слушающим сказку.

Возьми это конопляное семечко, – сказал первый министр, в которого успела превратиться курица. – Пока оно будет у тебя, ты всегда будешь знать свой урок, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтобы никому и ни под каким видом ты не сказывал ни единого слова о том, что видел...

Когда мама дочитывала до этого места, он всегда надеялся: *на этот раз* сказочный Алеша выполнит свое обещание. Но так никогда не случилось. И все-таки ему было до смерти жалко и Алешу, которого высекли за то, что сказал неправду, и Чернушку, закованную цепью, – она пришла попрощаться, сказала, теперь ее народу придется переселиться далеко.

Попутру у Алешки открылась горячка, но через шесть недель он выздоровел и впредь старался быть послушным, добрым и прилежным мальчиком, все его снова полюбили, и он стал примером для своих товарищей. Ты понял меня, Алеша? – Геннадий Лукич спросил строгим голосом.

– Да-да, я понял, – он ответил и крепко заснул.

III

– Ферцайн зи битте, прошу прощения... – некто невидимый толкал, тряс его за плечо.

– Да-да, я уже... спасибо... – он открыл глаза, оглядываясь ошарашенно, не узнавая ни этого вагона, ни себя, который – с чего бы это? – здесь оказался.

– Граница. Попрошу занять свое место. Согласно купленному билету. И кресла попрошу. – Вдруг проводник сломался в пояснице и, что-то подняв с пола (он не успел рассмотреть, кажется, бумажка или фантик), распрямился, бросив на него такой острый и пронзительный взгляд, что стало ясно: *наш* человек, сотрудник – если что, придет на помощь.

Торопливо натягивая брюки, он волновался: «Очередь... Закроют. Не успею...»

Но торопился зря. Туалет был свободен, все он прекрасно успел – и умыться, и почистить зубы, – даже справился с креслами, самостоятельно, без помощи любезного старика. Проходя мимо, тот вежливо поздоровался, попутно глянув в окно доброжелательным взглядом, будто объединил в едином утреннем приветствии его, незнакомого советского парня, и картину приграничной советской природы, напоследок мелькавшую за окном.

Погода и впрямь налаживалась. Серое небо еще осыпалось снежным крошевом, но ветер больше не выл. Впрочем, в этом районе, сквозь который – быстро и бесшумно, как иголка, пронизывающая податливую вату, – мчался сверхскоростной поезд, зима и должна быть мягче, в чем он и убедился: вдоль полотна железной дороги лежал ноздреватый снег. Сугробы, подпирающие металлические листы ограждения, поводили носами, с наслаждением вдыхая влаж-

ный воздух, – первый признак теперь уже недалекой весны. То здесь, то там бескрайняя лесная равнина проклеивалась нефтяными вышками – пускала буйные ростки.

Садясь на свое законное место, буркнул: «Здрасьте». Похоже, девица приняла его возвращение как должное, кивнув в ответ.

На задней обложке журнала, который она полистывала, расположился мужик лет тридцати. Сидел, закинув ногу на ногу, в одной руке кофейная чашка, в другой – свернутая в трубку газета. «Вырядился. Ботиночки начистил. Такие-то ей и нравятся. Бездуховные. И зачем ему, спрашивается, газета? Мух бить?» Ему явился образ дяди Васи, соседа по коммуналке (мятые трусы, линялая майка-алкоголичка, газета-мухобойка в руке – для этого и выписывает), вытеснив собой нахального мужика.

– Пасс готовь, – девица заглянула в проход. – Ваши погранцы.

Он ощутил смутное беспокойство: как всегда, когда ждешь одно (как на последней перед китайской границей станции: пассажиров просят выйти из вагона и проследовать в длинный приземистый барак. Солдаты, вооруженные автоматами, прочесывают состав от головы до хвоста – ищут перебежчиков. И только потом проверяют пассажиров), – а выходит совсем иначе.

По проходу – все-таки он выглянул – шли трое в пограничной форме.

Опасаясь привлечь к себе излишнее внимание, вытянулся в кресле. Девица как ни в чем не бывало полистывала журнал. «Плохо. Сижу как деревянный, – постарался расслабить плечевые мускулы, даже положил ногу на ногу, будто принял непринужденную позу журнального мужика. – Это же наши. Даже если снимут с поезда – попрошу позвонить, связаться», – хотя прекрасно помнил: Геннадий Лукич это запретил. Ни звонков, ни контактов... Ему показалось, он слышит голос шефа: *Будь внимателен, не теряйся, в экстренных случаях не впадай в панику, держи себя в руках, прислушивайся к внутреннему голосу, в нашем деле интуиция – первый помощник...*

Голоса приближались, точнее – один:

– Первый, первый... Шестой заканчиваем... Понял, Михал Дмитрич. Как только, так сразу... Есть.

Расслышав слабое потрескивание, он догадался: переговорное устройство.

– Добрый день. Попрошу документы. Пограничный контроль. – Офицеры в зеленых погонах остановились подле их кресел.

Девица скорчила вежливую гримаску. Завладев ее паспортом, старший открыл его на первой странице и поднес нечто, напоминающее огородную тяпку, – стальная поперечина с тремя зубьями, насаженная на черенок. Потрескивание, которое он принял за помехи, переросло в громкий треск. Зубья скользили по бумаге. На внешнем ребре вспыхивал красный огонек, будто отстукивал морзянку: точка-точка, тире-тире-тире...

– Счастливого пути, – пограничник вернул документ и обратился к нему. – Вас, товарищ, попрошу.

Внутри все дрожало – билось тонкой жилкой под ключицей.

Он следил, как электронные зубья похрустывают его паспортными данными, тщательно пережевывая каждую букву и цифру.

Произнеся заветные слова, отпускающие его душу с миром, офицеры двинулись навстречу другой погрангруппе, ожидавшей их в тамбуре. Стеклопакеты открылись и закрылись.

– Ух ты! На китайской такого нету.

– И чо особенного, – девица пожала плечами. – Нормальная электроник.

Пограничники о чем-то беседовали, видимо, подводили итоги проверки. Их старший – плотный, с красноватым загривком, лезущим из-под ободка фуражки, как тесто из квашни, – приложил к уху электронную тяпку, кивнул и потянулся к кнопке, мигающей над красной ручкой стоп-крана.

Он уловил негромкий скрежет под полом, точно вагон, вообразив себя самолетом, выпустил шасси. «Партизаны... Взрывчатка...» – ухватился за подлокотники и замер, глядя в окно. Будто ждал, что поезд и впрямь взлетит, но, в отличие от самолета, не наберет высоту, а завалится набок, подминая под себя эту снежную белизну, куроча рельсы со шпалами...

Но ничего такого не случилось. Уже хотел отвернуться, но в этот самый миг вниз, по белому склону железнодорожной насыпи, метнулось что-то похожее на мешок с красными прорехами. И в следующее мгновение исчезло.

– Ты... видела? – он потер виски.

– Што? – девица улыбалась кому-то поверх его головы.

– Мешок. Красное... – косил глазами на белое безмолвие: снег, покрывающий насыпь, мертвел нетронутой белизной. – Там. Кто-то. Надо остановить, дернуть стоп-кран...

– На такой скорости? Фьють! – девица присвистнула. – Ты чо, русиш партизан?

– Но там... Вон же он, на стенке. Девица привстала:

– Кроче, нет там ни хрена! – и плюхнулась на место.

– Как – нет?! – он смотрел, пока не расплылось в глазах. Красная ручка исчезла. Похоже, он действительно ошибся, попал впросак. Оглянулся беспомощно, как во сне, когда за тобой погоня, надо бежать, но отказывают ноги.

По вагону, избегая глаз пассажиров, деловито прошел седоватый железнодорожник и, бросив пару фраз пограничникам, скрылся в вагоне № 5.

– Куда это он?

– Куда-куда! По инструкции. Доложит. Машинист сообщит куда следует. Дрезину пригонят, соберут ошметки, – она говорила насмешливо.

«Ошметки... Да как она может! Не мешок с тряпками. Это же человек».

Дергать, конечно, поздно, но все равно. Он обязан убедиться: это не обман зрения. Стоп-кран есть. Доказать вульгарной девице: конструкция сверхскоростного поезда предусматривает экстренное торможение. Может, захребетникам и плевать, но наши инженеры – должны были настоять. «Вот сейчас встану и докажу!» – в полной уверенности, что сумеет опровергнуть ее циничные слова, он оперся о металлический столик...

– «Уважаемые пассажиры! Говорит командир поезда. Наш поезд приближается к государственной границе Союза Советских Социалистических Республик. В целях обеспечения порядка и вашей личной безопасности просим оставаться на своих местах до полной остановки. Благодарю за внимание».

Перейдя на нем-русский, механический голос повторил сообщение и смолк.

– Чо, облом? – девица стрельнула глазками. – Я тоже. Пописать не успела. Ой! – закрылась ладошкой. – У вас грят: сходить в туалет.

– У нас не говорят. – Хоть так, но поставить ее на место.

– Не говоря-ят? – бесстыжие глазки округлились. – А как?

– Никак, – он ответил сухо. – Извиняются и выходят. По крайней мере, девушки.

– А женщины? – девица моргнула удивленно.

– Ну... – он помедлил. – Схожу вымою руки или... в дамскую комнату.

– Типа, фрау и фройлен? А я думала, у вас нету. Если фройлен – извиниться и выйти... Ваще жесь!

«Любой нормальный человек, когда на его глазах кто-нибудь гибнет... Ужаснется, переживет эмоциональное потрясение... А этой – хоть бы что!» – он насупил, уткнувшись в окно.

Граница Советского Союза – важное сообщение, пришедшее из динамиков, будто задвинуло створку между ним и страшной кровавой картиной, мелькнувшей всего на одно мгновение, но теперь уходящей на обочину памяти: не мешок с красными прорехами – слабые контуры мешка. Впрочем, здесь, на подступах к государственной границе, все выглядело иначе. Даже природа стала строгой и ответственной. Сугробы – не просто снег, укрывающий землю,

а пограничная контрольная полоса, на которой отпечатываются чужие преступные следы. В первую очередь злоумышленников. Но, как выяснилось, и тех, кто решается перебежать железнодорожные пути по недомыслию – недооценив чудовищную скорость летящего им наперерез состава.

Он смотрел на белые хлопья: падая с неба, они засыпали останки человека, превращая их в безымянный могильный холмик – один из сотен тысяч тех, оставшихся под снегом: героев, отдавших свои жизни по эту сторону Хребта. Рядом с их великим военным подвигом, исполненным трагического смысла, случайная гибель под колесами становилась не то чтобы неважной. Любая смерть – трагедия. Но все познается в сравнении. «Сам виноват. Нечего за ограждение лезть».

И вдруг спохватился: «Тут же линия Молотова...» Символ героической борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков: система оборонительных укреплений, грандиозная по своему размаху, которую он множество раз видел на фотографиях, но теперь припал к окну, надеясь различить не только контуры пулеметных ДОТов, надолбы – деревянные, бетонные, металлические, высокие столбы сплошных проволочных заграждений, заглубленные позиции для орудий, но и муравьиные ячейки окопов, траншей и противотанковых рвов различных профилей – всё, что впечаталось в память еще со школьных лет.

Когда нас в бой пошлет товарищ Ленин... И первый маршал в бой нас поведет! – смотрел растревоженными глазами на театр военных действий, где еще четверть века назад гремели кровопролитные сражения. Теперь лежала безмолвная земля. Он думал: «Неправда, этот бой не кончен, всё еще длится».

Советские деревья, провожающие поезд, теряли последние силы, тщетно пытались зацепиться на возвышенности, за которой – в пелене снега и тумана – уже угадывались величественные контуры Хребта. Против наших выступали фашисты: мобильные отряды кустов, входящие в мотострелковые и горнострелковые соединения, рвались вперед, клонясь под ударами ветра, нашего преданного сателлита, способного отразить любую атаку противника без ущерба для себя....

– Заснул? Подъезжаем, – девица потянулась за курткой, висящей на металлическом крючке.

«Куда это она? Нас же уже проверили». За окном плыли приземистые строения, похожие на бревенчатые бараки. На всякий случай оглянулся на других пассажиров. Никто и не думал вставать.

– Идешь? – девица натягивала куртку. – Или тут? Задницу бушь греть.

– А... разве можно?

– А чо низя-то? Все равно ждать. Пока это... как его? Кроче, на нашу колею.

– А вдруг кто-нибудь... – он смотрел, как она возится с неподатливой молнией.

– Сбежит? Ага, размечтался, – совместила концы и дернула. – Вон. Ваши топтуны.

Вдоль платформы, очищенной от снега, цепью, на расстоянии полутора метров друг от друга, стояли солдаты с автоматами – в тулупах и валенках. Тесемки ушанок стянуты под подбородками. Щеки разругивал мороз.

Девица шла впереди, не оглядываясь. На ходу попадая в рукава, он заторопился следом, стараясь не думать о неприятном. «Если что, скажу: в туалет...» – одернул толстые рукава, понимая: *это* не работает. Когда идут в туалет, не надевают пальто. Выйдя в тамбур, скосил глаза на красный рычажок: кран, но не «стоп», а самый обыкновенный, перекрывающий трубу отопления. – «Значит, все-таки не предусмотрено...»

Проводник возился с металлической лесенкой.

– От графика отстаем. Перешьемся, сразу тронемся. Попрошу не отдаляться, – проводник забормотал деловито, будто цепь солдат, опоясывающих платформу, не говорила сама за себя.

Девушка уже спустилась. Пересчитав ступеньки ребристыми подошвами, он тоже сошел. Вдыхая морозный воздух, обозревал величественную картину. Ближний перекат. Горный кряж, подернутый снегом, распадался широкими уступами. Впереди, метрах в ста от головного вагона, чернела голая каменная порода, будто длинная узкая возвышенность (он вспомнил: увал), на которую взобрался поезд, завела их в тупик.

– Туннель, – девушка стояла рядом, постукивая щиколоткой о щиколотку. – Клево, а?

– Там? – он мотнул подбородком, косясь на замерших солдат. «Здоровые парни. На китайской границе – хлипкие».

За солдатскими спинами гигантскими буквами, выложенными по высокой снежной насыпи, чернело:

СЛАВА КПСС!

– Да не туда, – девушка хихикнула, – туда гляди. На подступах к тоннелю, где, собственно, и шла перешивка вагонов, плясали разноцветные огоньки: красные, желтые, зеленые – будто гномы, исконные жители этого края, посылали короткие сообщения поездной службе. Металлический столб, индеевский на краю платформы, что-то семафорил в ответ.

– Видал? – девушка дернула его за рукав, разворачивая в другую сторону.

Вдали, у подножья кряжа, серело что-то огромное, контурами напоминающее человеческую фигуру.

– Что это?

– С дуба рухнул? – девушка скроила удивленную мину. – Ваш Солдат.

Он вздрогнул.

«...ос-споди... Как же я сразу?..»

Сорокаметровая статуя, вырубленная из камня, – Советский Солдат, охраняющий западные рубежи. Сколько раз видел это лицо. На фотографиях, картинах, плакатах: тяжкие бессонные веки, широко поставленные ноздри, подбородок с глубокой ложбиной посередине. Некогда любимые складки долгополой шинели надежно укутывают голенища. Руки, сведенные на груди, держат обоюдоострый меч.

– А там, – девушка махнула рукой в направлении Хребта. – Наш. Со шмайсером. Так што учти, если што, тра-та-та-та-та-та, – изображая автоматную очередь, свела кулаки.

– Это мы еще посмотрим, – он отрезал грубо и зло.

– Поду-умашь, – девушка надула губы. – Да кому вы вообще нужны!..

– Мы-то всем нужны, – думал, она поймет намек: СССР – надежда всего прогрессивного человечества. В отличие от их России.

– Слышь, а чо он, этот ваш, не с калашниковым? Типа как эти, – ткнула пальцем в ближайшего, стоящего в оцеплении. На этого парня он тоже обратил внимание: высокие скулы, широко поставленные ноздри, тяжелый подбородок с ложбинкой – будто живой солдат, призванный на срочную службу, доводился родственником своему каменному прообразу.

Солдат, в которого ткнули пальцем, насупился. Дуло автомата качнулось, точно стрелка огромного компаса, и замерло, остановившись на бесцеремонной девушке. Чувствуя холодок между лопатками, он поспешил отвести взгляд.

– В войнушку играешь? Слышь, паря, ты, эта, девок своих пугай. Гляди, пожалуйста твоему офицеру, бует те войнушка...

«С ума сошла... Провоцирует, лезет на рожон... А вдруг у них приказ... Если что, и меня... зацепит... – мысли скакали, как обезумевшие зайцы. – Прыгнуть, упасть плашмя», – но стоял, будто примерз к земле.

– Сошлют тя. Ага, – чертова девушка не унималась. – В стройбат. Или как там у вас? На стройки коммунизма.

Дуло автомата дрогнуло. Он зажмурился, принимая неизбежное. «Раз, два, три, четыре...» – ползли томительные секунды. Только на восьмой рискнул поднять глаза. Солдат стоял в той же угрожающей позе, но в его лице что-то нарушилось. Скулы, еще минуту назад казавшиеся высокими, обиженно заострились, в уголках губ ежилась растерянность. Парень шмыгнул носом, но поздно – к ложбинке, рассекающей красный от холода подбородок, ползла зеленоватая сопля. В глазах, моргающих недоуменно, отразилась яростная борьба: слизать или лучше – варежкой?..

– Попрошу побыстрее! Отправляемся, отправляемся...

Он и не заметил, что поезд уже подали. Только по другую сторону платформы, откуда начиналась чужая нем-русская колея. Солдаты, стоящие в оцеплении, расступились.

– Эй, герой! Сопли подотри. – Крутанувшись на тонком каблучке, девица направилась к вагону.

Солдат поднял руку и мазнул варежкой по лицу, будто выполнил ее распоряжение, и теперь смотрел на варежку: в мозгу, прихваченном морозцем, снова боролись две антагонистических идеи – вытереть о тулуп или бог с ней, отмерзнет сама?..

Проводник, стоящий на первой ступеньке лесенки, делал призывные знаки. Дерзкая девица выглядывала из-за его плеча. Ему показалось, проводник усмехается, мол, что с нее взять, захребетница.

Он взялся за металлический поручень: «Все-таки надо ей сказать, предупредить. На этот раз обошлось, но раз на раз не приходится. Мало ли, на кого нарвется...»

Девица, покрасневшая на морозе, поднесла пальцы к губам, чмокнула и махнула рукой. Воздушный поцелуй – нет, он не мог ошибиться! – посланный поверженному противнику, долетел и, обратившись в смущенную улыбку, запорхал по мальчишескому лицу, стирая последние следы родства с гигантской каменной статуей, неколебимо глядящей на запад – выше дальних отрогов Хребта.

Пока он шел к своему креслу, состав успел тронуться. Солдаты, стоящие в оцеплении, медленно уплывали назад. Вслед за ними поплыл огромный лозунг над крышей крайнего барака:

НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ!

На его фоне солдатские фигурки казались маленькими и все на одно лицо – обыкновенное, человеческое, окончательно утратившее сходство с великим прообразом, сжимающим обоюдоострый меч. Чувствуя невнятное разочарование, похожее на уколы совести, он вытянул шею, пытаясь хотя бы напоследок поймать глазами подлинные черты гигантской статуи. Отчаянная попытка удалась: складки шинели, ниспадающей к кирзовым сапожищам... руки, сведенные на груди надежным каменным захватом... тяжкие веки, широко поставленные ноздри, точнее, одна, из которой – он не успел отвернуться, – стремясь к ложбине, прорезающей массивный гранитный подбородок, выплывала гигантская сопля...

Кромешная темнота, в которую, въезжая в тоннель, погрузился поезд, совпала с тьмой, залившей его совесть. Он съежился и зажмурил глаза.

Электрический свет, загоревшийся неожиданно, осветил ряды кресел, металлический столик, в мгновение ока потемневшее стекло, за которым едва различались контуры тоннеля. Успев набрать приличную скорость, поезд мчался, на бегу размазывая по стенам редкие огоньки: желтые, синие, зеленые – еще какое-то время они виделись пунктирными линиями. Потом слились.

– Ну всё! Ща жратву повезут. Бабосы готовы.

Порывшись в нагрудном кармане, он достал аккуратно сложенную пятерку: «Больше никаких солянок. Возьму суп с клецками». После ночного конфуза решил не рисковать.

– Не, рубли не принимают, – неугомонная девица рылась в сумочке.

– Как не принимают?.. Тут же наша территория.

– Территория ваша. А деньги наши, – девица хмыкнула. – Ист аус халява. Ауфидерзейн, эсэсэр.

Он погладил лацкан пиджака – ладонь ощутила твердость бумажника, в складках которого скрывалась тощая стопочка рус-марок. Геннадий Лукич предупредил: это – на первое время, остальное получишь по прибытии. Но не объяснил: где и как?

– Чо, с бабосиками плохо? – девица моргала крашеными глазами.

– Не выдумывай, – ответил как положено. И вспомнил клетчатый листочек из тетради: список заказов, составленный Любой, лежал в другом кармане пиджака.

– А то гляди... Могу и подкинуть.

Небрежное сочувствие, которое она себе позволила, подстегнуло гордость. Он встал и потянулся к багажной полке. Крякнув, снял чемодан. Достал объемистый сверток (помимо бутербродов с колбасой мать приготовила куриную ногу, пару яиц вкрутую и соль в тряпичном узелке).

Пихнув багаж на прежнее место, поерошил волосы. В детстве так делала мать: «Терпеть не могу, когда ты такой прилизанный, как мокрый кролик». Сестра Вера хихикала: «Ага. Теперь лучше: как сухой хореk». – «Ну ма-а, ну скажи ей...» – он утыкался в застиранный фартук. «Вера, как же тебе не стыдно, большая девочка». – «Ладно, – Верка соглашалась. – Пусть не хореk. Водяная крыса». – «Не слушай ее, ты у меня самый красивый, вырастешь, все девушки будут твои, только выбирай...» – мать утешала, гладила по голове. Бросая на Верку колючие взгляды, он сжимал кулаки...

– Бр-р! Гадость. Терпеть ненавижу! Он вздрогнул: будто его подслушали.

– Ну эти... туннели, – девица смотрела в окно.

– А мне нравится, – он решил заступиться за строителей, проложивших дорогу сквозь Уральские горы. – Как в метро. Только никаких станций...

– Ты чо, в метро што ли едешь? – девица смотрела с опасливым изумлением.

– Да, – он удивился, – а что такого-то?

– Там же желтые.

– Это у вас, – он ответил, чувствуя законную гордость, да что там! – историческое превосходство. – А у нас, если хочешь знать... – собираясь преподать ей хороший урок социального равенства (уж чего-чего, а этого у советских людей не отнимешь, даже Веркин комсомолец, и тот, когда машина в починке, ездит на метро), вдохнул, расправляя грудь.

Секундная пауза, которой девица не преминула воспользоваться:

– Да ладна, не гони. У вас тоже есть. На заводе. Думаешь, я не видела?

Он не успел понять, что именно она видела и кого за кого приняла.

К ним подъехала тележка.

– Курица, рыба, мясо?

Давешние проводницы – блондинка и брюнетка, обе приятные. «Но блондинка все-таки лучше...»

– Рыбу, – девица повела носом, достала кошелек, неторопливо расстегнула молнию. – Хотя... Рыба чья?

– Рыба... – проводница-блондинка помедлила, словно не находясь с ответом. – Рыба – наша.

– Курочку возьмите, – проводница-брюнетка пришла на помощь напарнице.

– Ты бы чо выбрал?

– Не знаю... – он задумался. – Скорее, мясо.

– Мясо, – девица тряхнула челкой. – Ага. И кофе. Брюнетка отсчитывала сдачу.

– Курица, рыба, мясо? – блондинка обращалась к нему.

– Спасибо. У меня... – он покраснел и покосился на объемистый сверток.

– Может быть, кофе? Мотнул головой, краснея все гуще. Девушка поглядывала насмешливо. Тушуясь под ее взглядом, он переменял решение:

– Кофе – да, пожалуй.

– Сахар, сливки?

– Нет-нет, – заторопился. – *Просто* черный.

– С вас четыре рус-марки. «Это же...» – немеющей рукой он полез в карман пиджака, пытаясь перевести в рубли.

Небрежно отсчитав сдачу – пять серебристых монеток, каждая из которых, по мнению его сестер, тянула на полноценные колготки, прочные, не то что наши, не успеешь натянуть – стрелка, потом возись, поднимай; или две банки растворимого кофе *в гранулах*, – проводницы отбыли в следующий вагон.

Он сидел, понуря голову, чувствуя себя растратчиком семейного бюджета.

Впредь будь осторожней, Алеша. А главное, внимательней.

«Да уж буду», – дав обещание своему внутреннему голосу, он потянулся к свертку. Развернул верхнюю газету, потом кальку, заляпанную жирными пятнами.

– Терпеть не могу мороженую. Ваши вечно морозят, – девушка хрустела прозрачным пластиком. – Мясо ищо ладно. А рыба...

– Какая гадость эта ваша заливная рыба, – он улыбнулся, ожидая ответной улыбки.

– Заливная? – сладив с верхней коробочкой, девушка достала еще одну – белую, обернутую фольгой.

– Ну... – ему показалось, недослышала. – Ипполит, Третья улица Строителей...

Ни малейшего отклика. Словно и понятия не имеет о фильме, собирающем у телевизионных экранов миллионы его соотечественников. «Да знает она все! Наверняка придуривается», – но решил подыграть.

– Ты еще спроси, что такое... – выбрал *самое* нелепое, что только можно себе представить, – салат оливье.

– Оливье... Францёзише кюхе? – она *вспоминала*, морща лоб.

С тех пор, как судьба свела их в одном вагоне, он устал удивляться. Но теперь, прислушавшись к себе, понял, точнее, ощутил, всю глубину пропасти, зияющей между ним и его случайной попутчицей, живущей *совсем* в другой стране. Машинально облупив крутое яйцо, взялся за узелок с солью. «Ну да, в *другой*. Тоже мне, открытие...» – тряпичный узелок никак не развязывался. Дома вцепился бы зубами. Но здесь, в поезде, неловко.

– Проблем? – девушка протянула руку. Он пожал плечами:

– Ну, попробуй.

– Да чо тут! – подцепила узел длинным синим ногтем (едва успел подумать в рифму: лак-вурдалак): – Вуаля!

– Ловкость рук и никакого мошенства, – похвалил великодушно. – Всё. Уговорила. С сегодняшнего дня начинаю отращивать. Как у китайских мандаринов. – Растопырил пальцы, в глубине души надеясь, что она переспросит. И он возьмет наконец реванш – поразит ее воображение красочным и подробным рассказом. Мысленно пробежал глазами работу, которую писал на третьем курсе. Даже иероглиф вспомнил: #.

– Знаешь, кто такой – мандарин?

– Манда... рин? – она повторила кисло и сморщилась. – Ты чо, спятил? Тут же... люди!

– И что? – он оглянулся. – Пусть послушают, в конце концов, долгая история мандаринов...

– Да тихо ты!

Он вынужден был замолчать. Недоумевая: «Какая муха ее укусила? – развернул пергаментную бумагу – обертку из-под маргарина, в которую мать упаковала курицу. – Что я такого-то сказал?...»

Между тем его спутница тоже сорвала фольгу. Не приступая к трапезе, внимательно изучала содержимое коробочки:

– Ты чо, правда мясо любишь?

Решив никак не реагировать, он облупил и круто посолил второе яйцо. Жевал молча и сосредоточенно, чувствуя, как ходят скулы. «Пусть помучается. Если не умеет себя вести...»

– А я курицу, – девица отставила нетронутую коробку.

– Вот бы и выбрала, – все-таки не выдержал, ответил сухо.

– Это ты выбрал! – она говорила громко, на весь вагон. Эти, с ребенком, вряд ли. Но пожилые наверняка услышали.

Он обтер губы и дал волю раздражению:

– Как мне – так тихо. А тебе, значит, можно! Проводник, проходящий мимо, покосился в их сторону.

– Слышь, – девица не унималась, – а давай махнемся. Тебе – мясо, а мне курицу.

Проводив глазами синюю железнодорожную форму, он подвинул к ней куриную ногу:

– Пожалуйста, угощайся. Прости, что не предложил раньше...

– Ушел? – она спросила шепотом.

– Кто?

– Ну, этот, – девица мотнула подбородком. Синяя форма маячила за стеклянной дверью. Не понимая, к чему она клонит, он кивнул.

– Ладно, не злись, – она заговорила нормальным голосом. – Мандарин, натурал – лично мне фиолетово. У меня и друзья из *этих*. А чо, клёвые парни. Тока болтать-то чево? Потом ходи, объясняй, на рожи ихние любуйся, – она передернула плечами. – Бр-р-р!

«Натурал? Ах, вот оно что...» – ему стоило больших усилий, чтобы не рассмеяться.

Оторвав замасленный газетный угол, осведомился строго:

– Ручка есть? – Лучший метод домашней конспирации. Так считают его сестры. Вечно перебрасываются записками. Однажды, пришлось к слову, поинтересовался мнением профессионала. «Да, записки – самое эффективное. Все остальное – вчерашний день, – Геннадий Лукич подумал и уточнил, – с технической точки зрения». Получив авторитетное подтверждение, он почувствовал гордость за сестер: никогда не верили – ни в снятую телефонную трубку, ни тем более в открытый водопроводный кран.

Думал, его попутчица удивится, но она кивнула понятиливо и полезла в сумочку.

«Китайский мандарин – просто чиновник».

Он полагал, прочтет и рассмеется. Ничуть не бывало. Порвала на мелкие кусочки:

– Ага, классная отмазка. Думаешь, в гестапо идиоты?

– Но послушай, – он попытался вернуть ее в пространство разума. – Если бы что-нибудь политическое. На худой конец книга... И курица стынет...

– Да на хер мне твоя курица! – девица буркнула и уставилась в окно.

На этот раз он разозлился не на шутку. Решительно взялся за куриную ногу. Не обращая внимания на приличия, обглодал до костей, запил остывшим кофе и, свернув в газету остатки трапезы – «Завоняется, лучше сразу выбросить», – направился в тамбур.

«Ну и где у них тут?...» – в поисках мусорного ящика обежал глазами серые стены и, помянув недобрым словом конструкторов, использующих любую возможность, лишь бы обескуражить нормального человека, решил дождаться проводника.

За стеклом, потеющим снаружи,плыли толстые – с его руку – шланги, напоминающие стебли лиан. Хитросплетения бесчисленных проводов то сходились, то снова разбегались, покрывая стены тоннеля замысловатым узором, пока не зарябило в глазах.

Прокладывая тоннель, проходчики вынули тысячи кубометров грунта. «Каждый из которых, – он сосредоточился на главном, – оплачен кровью отцов».

Собираясь в дорогу, думал об этом неотступно, пытался представить, *что* он почувствует, когда окажется в этом подземном царстве: запоздалую боль, горечь потери, светлую грусть? «Ну вот. Я здесь. А там, наверху... наверху...» – прищипывал снулые чувства – казалось бы, здесь, в земле, где лежат отцы и деды, они должны стократ обостриться...

– Желаете воспользоваться? Ватерклозет свободен. Сбившись с натужных мыслей, он обернулся на голос.

– Я... нет... Мусор, – кивнул на газетный сверток.

– Желаете выбросить? – проводник нажал на кнопку. Из щели, открывшейся в стене, пахло ветром и холодом. Замерев на мгновение, словно раздумывая, сверток канул вниз. Под днищем что-то заскрежетало. И в то же мгновение скрежет смолк.

Трагическая история с якобы погибшим человеком получила рациональное объяснение: наверняка старший пограничник, нажавший на кнопку, выбросил какой-то мусор. Мешок с красными прорезами – плод его разгулявшегося воображения. Поэтому девица и насмешничала, болтала про дрезину, собирающую человеческие ошметки.

Прежде чем вернуться на свое законное место, он благодарно кивнул проводнику.

Вывавшись из тоннеля, состав сбрасывал скорость. Промелькнула высокая постройка, похожая на водонапорную башню. За ней пробежало что-то одноэтажное: не то сарай, не то будка путевого обходчика. «Ну все. *Их* граница. Сейчас...» Ладони взмокли, стали липкими. Хотел достать носовой платок, но, покосившись на попутчицу, передумал. Украдкой вытер руки о штаны.

За окном уже плыла платформа, обрамленная низкими строениями, напоминающими бараки, – но не бревенчатые, а цементные. Самый высокий выделялся огромным лозунгом:

ФОЛЬК И ПАРТАЙ ЕДИНЫ!

Словно делал шаг вперед. Вдоль барачных тянулась цепочка солдат с автоматами. «Совсем как наши, – но одернул себя: *ничего* общего. – Во-первых, тулупы. У наших – белые...» Платформа, дрогнув напоследок, замерла.

Он смотрел с любопытством, отмечая отдельные детали, еще не сложившиеся в цельную картинку: окна, забранные решетками, глухая серая дверь. Два солдата, несущие караул, – черные тулупы, ушанки, в руках короткие автоматы, – расступились, давая дорогу.

Из приземистого строения, похожего на здание провинциального вокзала, выходили люди в форме: гнутые фуражки с кокардами, черные кожаные пальто, повязки на рукавах. Чужие пограничники, будто сбежавшие из учебника по военной истории, шли по платформе мимо его окна.

Девица полистывала журнал. Сам он сидел как на иголках, не смея ни обернуться, ни тем более выглянуть в проход.

Знакомый треск раздался минут через двадцать.

«Эти, с ребенком... Ага, теперь пожилые...»

– Коффер. Дер блауе. Ваш?

Пожилый голос ответил неразборчиво. Он подумал, попросят открыть, но вспомнил: черных не досматривают.

Впрочем, за свой багаж он тоже мог не волноваться. Досматривали сегодня утром. Пришлось отстоять очередь в специальный павильон. Руки в белых перчатках рылись, перебирая рубашки, трусы, майки. Все новое, ненадеванное. Но *все равно* чувствовал себя неловко, будто стоит перед ними голый. «Так. А это – что?» – «Научная работа, моя...» – «Петр Василич!» – женщина в форме кого-то окликнула, видимо, старшего по смене. Глянув в лицо начальника, рябоватое, будто осыпанное оспинами, он пожалел, что прихватил с собой карточки, пошел на поводу у многолетней привычки. «Дело в том, – старался говорить спокойно, – что я – китаист. Это „И-цзин“. Книга, специальная... – хотел перевести на сов-русский, но как назло

выскочило из памяти. В самый неподходящий момент. Рябоватый таможенник внимательно читал верхнюю карточку. – Понимаете, – он начал снова, надеясь, что русское название вот-вот вернется. – Гексаграммы. Символ, число, толкование. Все дело в сочетании линий. Если надо, я могу объяснить...»

«Тамара Михална, пропустите», – таможенник сделал знак рукой.

Трепеща от радости: «Обошлось, обошлось...» – он подхватил распяленный чемодан и оттащил в сторону. Сидя на корточках, возился с коварными молниями. Старший таможенник выговаривал своей подчиненной: «Дивлюсь вам, Тамарочка. И чему вас только учат! И-цзин – Книга Перемен... (Изумившись: надо же, знает! – он наострил уши.) Китайская классика. Образованный человек обязан иметь представление...» – «Вам-то хорошо, Петр Васильч! У вас университет за плечами...»

Выходя на платформу, он гордился своей страной. Даже на таможне у нас работают образованные люди, выпускники университетов. «А тетка – провинциалка. И говорит с дальневосточным акцентом. Эти, с востока, пробивные: понаехали...»

За спиной щелкнуло.

«Ну вот, – сердце упало и разбилось. – Теперь мы».

– Попрошу документы. – На него смотрело надменное лицо. В иных обстоятельствах сказал бы: породистое.

Листая странички его паспорта, офицер едва заметно морщился, будто не верил ни единому слову.

Электронное устройство, висевшее на запястье, бормотало, подзуживая.

– Имя, отчество, фамилия? – породистый пограничник говорил с сильным нем-русским акцентом.

– Руско. Алексей Иванович Руско. Электронная тятка хмыкнула.

– Год и место рождения?

– Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой. Город Ленинград.

Повисла долгая пауза, в продолжение которой электронная тятка жевала его паспортные данные. Наконец выплюнула, недовольно урча.

– Цель въезда в Россию?

– Научный и культурный обмен. Ждал, что прикажут открыть чемодан, но офицер возвратил ему паспорт:

– Счастливого пути, – сопроводив пожелание коротким взмахом: рука переломилась в локте, вялая кисть откинулась назад, точно собралась прихлопнуть назойливую муху, но в последний момент передумала.

Этот жест, запрещенный на всей территории Советского Союза, он видел только в кино.

Проверив документ его попутчицы, офицер упустил еще одну муху и направился в следующий вагон.

Осколки сердца склеились. «Да что я, в самом деле! – стало стыдно за себя. За страх, с которым не сумел сладить. Хотя знал, был уверен – заграничный паспорт подлинный, выдавали в ОВИРе на общих основаниях. – Именно что на общих...» Кто их разберет, этих овировских теток, вполне могли перепутать, тиснуть не ту печать или запомнить какую-нибудь важную закорючку. Лучше, если паспорт готовят «документальщики» – специальная служба, отвечающая за изготовление документов прикрытия. Работают на совесть, не допускают осечек...

«Главное – дело сделано. Я – за рубежом», – с чувством выполненного задания поглядел в окно.

– Ну и где ваш солдат? – за пережитыми треволнениями совсем забыл о размолвке. Тем более, если разобраться, в дурацкой истории с мандарином девица испугалась не за себя – эта мысль окончательно растопила ледок.

– Там, – она ткнула пальцем куда-то в сторону. Он выгнул шею, надеясь высмотреть гигантскую фигуру со шмайсером – символ сопредельной державы. Но видел только деревья. Сосны, растущие у подножия, стояли сомкнутым строем – в полный рост. Те, что успели забраться повыше, гнулись под ударами ветра. Ветер, в этих местах главный союзник Советской армии, лупил по врагам прямой наводкой: вечнозеленых фашистов, рискующих штурмовать господствующие высоты, отбрасывало назад взрывной волной. «Ага, – подумал мстительно. – Так вам! Так!»

– Не, – девица покачала головой. – Отсюда не видеть.

– Жаль. А я-то надеялся, – он придал голосу оттенок иронии. – Взглянуть хотя бы одним глазом.

– Чо одним-то? – она откликнулась в своем репертуаре.

На этот раз он решил не потворствовать ее незнанию сов-русских народных выражений.

– Как – чего? Двумя страшно. Сама говорила: если что, тра-та-та-та-та... – хотел улыбнуться, но отвлекся на пограничников.

Они шли по платформе плотной спаянной группой. Человек шесть. Теперь, когда в паспорте стояла въездная отметка, их черная форма больше не казалась зловещей. Даже наоборот... Будто снимают кино.

Мать одноклассника работала на «Ленфильме». Она и организовала экскурсию.

«В фашистском логове. Дубль семнадцать», – хлопущка щелкнула плотоядно.

По узкому длинному коридору шел фашистский офицер: левая рука висела неподвижно, правой он давал короткие отмашки...

«Да наш это, наш. Разведчик, – мать одноклассника жарко шептала их учительнице: – К празднику, к Дню победы. И премьера назначена. Не знаю, как и успеют...»

«Снято, все свободны», – женщина-режиссер, сидящая на возвышении (сперва он и не заметил), махнула рукой. Воспользовавшись дарованной свободой, советский разведчик вышел из павильона и присоединился к фашистским офицерам.

Он замер, начисто позабыв, что может отстать от своих. Ждал, когда тот пойдет обратно. Чтобы снова увидеть эти короткие взмахи: правой! правой! – от которых загоралась кровь. Смотрел, не в силах оторвать глаз, чувствуя жаркий кровоток, будто его правая рука силилась перенять энергичную отмашку фашиста, маскирующую сердце героя-патриота. Горячее, как у Геннадия Лукича. Среди курсантов ходили упорные слухи, будто после войны их шеф служил советским резидентом. В глубине души он верил. Даже представлял своего пестуна в эсэсовской черной форме: вот он идет по коридору гестапо, слегка прихрамывая (хромота осталась с войны), делая короткие отмашки – правой! правой! – как этот неизвестный, но запавший в память актер, так и не шагнувший на экраны родной страны. Видимо, создатели не успели к сроку. Или фильм почему-то запретили...

Солдаты, несущие караул у серой двери, вытянулись во фрунт. Прежде чем войти в здание вокзала, фашистские пограничники расступились.

И тут он увидел парня. Светловолосый, почти его возраста. Парень обернулся, словно что-то почувствовал.

«Наш или захребетник?...»

Этого он не понял. Споткнувшись, будто его толкнули в спину, парень исчез в дверях.

Высокий офицер задержался, что-то объясняя караульному. Прежде чем поезд тронулся, он успел разглядеть эмблему на рукаве: «Череп. Мертвая голова. Да это же... СС», – и окончательно осознал, где он оказался: в фашистском логове – как тот неизвестный герой, чью походку он запомнил на всю жизнь.

Платформа дрогнула и поплыла.

Уплывало все: приземистое здание, похожее на вокзал, череп, сияющий белозубой улыбкой, солдаты со шмайсерами – точно слепые, вперившие глаза в пустое пространство, синяя будка, занесенная снегом...

Остался только взгляд: темный, подернутый... – «Чем? Страхом, злостью, отчаянием?» – он смотрел на белые сугробы, упорно пытаясь подобрать нужное слово. Будто сценарий фильма, в котором не безвестный актер, и даже не Геннадий Лукич, а сам он играет главную роль советского разведчика, с этой минуты зависит только от него.

IV

В снежной дымке растворялись последние контуры Хребта.

«Не забывай: не дома. Ты у них, в России».

Тайга, с советской стороны границы сбита в сплошную вечнозеленую массу, заметно поредела, уступая жизненное пространство зоне смешанных лесов. Над голыми лиственными деревьями торчали острые верхушки елей. Их перемежали сосновые кроны, раскидистые, как шалаши.

В детстве они играли «в партизан».

Как и полагается на партизанской войне, остро стояла проблема с оружием. Ружья, вырезанные из деревяшек, – на весь отряд их было два: по числу живых отцов. У остальных палки. Эти двое и стали главными. Пашка и Серега. Командир и комиссар. Однажды Пашка сказал: *с той стороны* полно автоматов и винтовок. В земле остались. Бери и копай. У матери был день рождения, вечером пришли гости – две женщины из соседнего барака. И что его дернуло? Вдруг, ни с того ни с сего, ляпнул: «Жалко, мы не там, за Хребтом». Мать несла миску с вареной картошкой – охнула, хорошо, тетя Галя не растерялась, полезла под стол, вторая соседка за ней: «Ничего, ничего, к счастью», – ползали, собирали картошку в мундирах: пыль сдул и ешь.

Мать схватила за руку, потащила за занавеску: «Сиди и молчи. А то прибыю». Потом, когда соседки ушли, просила прощения, мол, нельзя, и себя и нас погубишь, ладно – все свои, а если б чужие...

Вместо взрывчатки использовали кусочки коры – складывали один на другой, перевязывали обрывком шпагата. Когда игра заканчивалась, прятали обратно в схорон. С чем, с чем, а с корой перебоев не было. Кругом лес, ходи да подбирай. Главная проблема – шпагат. Пашка, командир отряда, ругался на чем свет стоит: «Вот сволочи! Обещали по ленд-лизу. Ну, – картинно разводил руками, – и где их поставки?» Как-то раз явился довольный. Вытащил из-за пазухи, подмигнул: прижучил, мол, союзничков. По нынешним временам – ерунда, метра два, но тогда казалось – невиданное богатство. Скорей всего, выпросил у отца. Отец – бригадир. Безногий. Женщины из его бригады смеялись: зачем ему ноги! Бригадиру главное голова.

Однажды – насмотревшись военных фильмов, по воскресениям крутили в клубе, – приволок брусок хозяйственного мыла: у матери были свои схороны. Сгрудились, шупали по очереди. Серега-комиссар ковырнул пальцем: ух ты, зыкинская взрывчатка! Ну ты – молоток, представим к ордену. Идею с орденом Пашка не поддержал. С Серегой они вечно были в контрах: всё, что предлагал один, другой принимал в штыки. Но в тот раз Серега все-таки настоял. Вылазку назначили на завтра. По справедливости его тоже включили в боевую группу: незаметно подобраться к насыпи, сделать подкоп, заложить взрывчатку под рельсу. Когда покажется поезд, подпалить шнур и – назад, в лес.

Мать хватилась месяца через два, когда развезло дороги. Плакала: без мыла нельзя, завширеем. Раньше никогда не плакала, по крайней мере, при нем. Сперва молчал, но потом не выдержал. Признался. Мать вскочила с табуретки: пошли! Ходили вдоль грунтовок, ковыряли палкой. Конечно, ничего не нашли. Но орден – кусочек коры с дырочкой – он носил еще долго.

Днем вешал на грудь, привязывал к пуговице, ночью прятал под подушку: к весне высокая правительственная награда рассыпалась в прах...

За окном бежали голые пустоши, будто деревья, выполнив боевое задание, спешным порядком отошли на безопасное расстояние от насыпи. Хотя старые железнодорожные ветки проложены севернее, – он вспоминал названия населенных пунктов, связанных с партизанским движением. Пермь, Соликамск, Березняки. Последние взрывы рельсовой войны прогремели в начале пятидесятых. Но все равно невольно прислушивался, будто время неведомым образом могло откатиться назад на три десятилетия – рвануть со страшной силой, изгибая жесткие сочленения поезда в чудовищном эпилептическом припадке...

Однако поезд, набравший расчетную скорость, скользил ровно и бесшумно – как на воздушной подушке.

Сколько ни вслушивался, так ничего и не расслышал: даже стука колес.

«Паразиты-захребетники! Что-что, а дороги делать умеют...» Всего в нескольких километрах от этой, прямой как стрела, осталась старая довоенная железка. Транссиб. Когда проект сверхскоростного сообщения существовал только на бумаге, советские инженеры предлагали ее отремонтировать, приспособить под новые нужды, но нем-русские специалисты доказали с цифрами в руках: переделывать дорожку. За последние годы Транссибирская магистраль окончательно пришла в упадок, рассыпалась. «Жаль, что наши согласились», – здесь, в поезде, как-то особенно остро чувствовалась эта утрата: Великий Сибирский путь – символ некогда единой и неделимой Российской империи. А после революции – единой советской страны...

Его попутчица, кажется, спала.

Скорей всего, и он задремал. Потому что не заметил, когда исчезли деревья. Теперь по обеим сторонам дороги тянулась вязкая равнина – ее очерчивали линии лесополос. После XXI съезда их свели на корню. Считалось, что этот способ борьбы с буранами придумал лично товарищ Берия. Но лет через десять посадили заново, уже в безличном качестве бесспорного достижения интерсоциализма.

За сплошной сеткой ограждения изредка мелькали населенные пункты, застроенные рядами одноэтажных бараков. «Прямо как наши», – подумал с нежностью, погружаясь памятью в детские годы, где остались такие же серые односкатные крыши. Узкие окна, едва пропускающие свет. Бревна, не спасающие от ветра. Зимой щели приходилось забивать: паклей, старыми тряпками, клочками ваты – выдергивали из сгнивших от сырости одеял. Окно над его нарами мать закладывала подушкой. Он привык спать на голом матрасе, не знал, что бывает иначе. Сотни тысяч эвакуированных. Для местных непонятное слово. Местные говорили: выковыренных.

Мать рассказывала: «Привезли, высадили на снег. Мужчин не хватало. Но, знаешь, мы и не разбирали: мужчина, женщина... Работали на равных», – этим обстоятельством она как-то особенно гордилась. Сперва расчищали участки: рубили, корчевали, сжигали пни. Первые бревна пошли на бараки. Это потом их свозили к рекам. Самая почетная профессия – сплавщик. С началом Великих строек – каменотес. В новые времена мальчишки играли «в строительство». Детские игры отражают взрослую жизнь. На вопрос: ну, что вы сегодня делали? – дети тех лет отвечали: строили Москву и Ленинград.

В его памяти этих строительных игр не осталось. Только те, прежние: «в наших и фашистов», в которых мальчишки менялись местами, как судьбой. Наши оставались бессмертными. Умирали фашисты. И головастики. Было время, теперь стыдно вспоминать, жарил их на костре, в консервной банке, будто для кошки, на самом деле – хотел узнать, как это, когда умирают не понарошку, а взаправду. Смотрел, как головастики подгорают с боков, но все равно скачут, прыгают. Однажды ночью пришла соседка тетя Маша, мать ее утешала, а тетя Маша все равно плакала: «Не могу, не могу больше... Жить... в этом аду».

В детстве он думал: ад – такое специальное место, где трудно, но можно жить.

После переезда в квартиру мать старалась забыть. Если и вспоминала, изредка, от случая к случаю: «Первые годы транспорта не было. На работу ходили колонной. Будто заключенные. Тяжело. Особенно осенью и весной: грязь, месиво. Идешь, а оно липнет. Ноги как гири». Скажет и замолчит – будто надеется, что сын, не заставший самых тяжелых лет, сумеет их вообразить. Последнее время заговаривала все чаще, но, он заметил, с какими-то новыми интонациями: «Грязь, месиво, а люди идут и улыбаются: ничего, все будет хорошо, самое страшное кончилось – главное, не бомбят»...

Его попутчица проснулась. Сидела, равнодушно поглядывая в окно. «Уж ей-то точно не пришлось. В хорамах небось выросла...»

– А здесь еще живут?

– Не-а, – она мотнула головой. – Таперича нет.

– Знаешь, – вдруг захотелось рассказать, поделиться. – Мы ведь тоже жили в бараках. Хорошо. Особенно летом. Палисадники, цветы...

Сестры рассказывали, самую красивую клумбу разбили у Дома культуры, под портретом Сталина. Этого предателя и агента вражеских разведок он уже не застал.

– Цветы? В лагере? – девица переспросила недоверчиво.

– Почему в лагере? – он не сразу понял.

– Так тут же эти, желтые... – За окном пронесся очередной барачный поселок. – Пока паспорта не получили.

– Нет, у нас не лагерь. Поселки эвакуированных. Девица пожалала плечами:

– Один хрен.

– Ну как это! В лагерях охрана, вышки, собаки. Эвакуированные – свободные люди, куда хотят, туда и едут...

Вдруг вспомнил Зою, девочку из соседнего барака, дружила с его сестрами. Однажды приехало начальство. Зоя болела, лежала с завязанным горлом. Один, в серой каракулевой шапке, спросил: «А ты чья такая?» – «Мамина. Мы беженцы». Проверяющий покачал головой: «Это плохое слово. Надо говорить: эвакуированные». – «Нет, – девочка сказала. – Эвакуированные – это ленинградцы, они ехали на поезде. А мы бежали. Из Москвы». Проверяющий пожевал губами: «И кто так говорит?» – «Мама», – она ответила и закашлялась.

Эту историю он узнал от Любы. На следующий день подъехала черная машина. Больше их никто не видел – ни Зою, ни ее мать. «Мало ли куда их! – Вера встряла немедленно: – Забрали на другой участок». – «Ну да, – Люба усмехнулась. – На другой. За колючей проволокой». Мать поддержала Веру: «Ты, Люба, преувеличиваешь. Десятилетних не сажали». – «Ах, простите! – Люба вонзила спицы в клубок, яростно, будто пронзила змею. – Зою, конечно же, в детдом». Потом, когда сестры ушли, мать вдруг сказала: «Знаешь, мне кажется, я помню: грузовик, крытый. А на борту: „Мясо“. До войны не обратила бы внимания, но тут... Откуда у нас мясо? Конечно, я жалею ту девочку, но *все-таки* она спаслась. А моя Надя...»

Теперь, глядя из окна поезда, летящего на Запад, он не просто услышал – *понял*. Будто увидел своими глазами, пережил ту, всенародную, боль. Тысячи и тысячи, бесконечная вереница: с детьми и баулами – где пешком, где, если повезет, на телегах, – своим отчаянием затопившие все эти необозримые просторы, бредут на Восток, держась еще не разбомбленных дорог. Товарные поезда увозили в тыл станки и оборудование, полотна из Третьяковки и Эрмитажа, тысячи тонн архивных документов и фотографий: по этим фотографиям и картам, спасенным из фашистского пекла, построили Ленинград и Москву. Заново, на новом месте. Среди бывшей тайги. Дом за домом. Улицу за улицей. На Великих стройках плечом к плечу работали и вольняшки, и пленные, не говоря о целой армии заключенных. Результаты превзошли ожидания: мать говорила – точь-в-точь как до войны. В детстве он думал: как в сказке про Аладдина. Всесильный джин, раб волшебной лампы. Схватит огромный город и перенесет на другое место.

На самом деле никакой не Аладдин. О чем свидетельствовала политическая карта. Наши Москва и Ленинград – справа от Уральского хребта. «Ну и что, что новые. Все равно они подлинные, настоящие». Так он думал, ревниво переводя взгляд на другую, европейскую сторону, где – будто в насмешку над великими советскими городами – красными точками были обозначены *их* Санкт-Петербург и *их* Москва.

В сороковых об этом противостоянии не помышляли. Толпы беженцев штурмовали поезда. Слабосильная толпа – если мерить силы каждым отдельным человеком – становилась необоримой преградой для товарняков, заваленных шкафами и кроватями, тюками с одеждой, коврами и ящиками с посудой, чьими-то личными автомобилями – всем, что вперемежку с мертвыми телами: и штатских, и солдат охраны – оставалось лежать на обочинах вдоль железнодорожного полотна. Люба говорила: «Это еще счастье, что охранникам не выдавали пулеметов. Из винтовок много не настреляешь».

А еще Люба говорила: «Потом поездов не было. Кто не успел, селились в чистом поле. Там, где их застала зима...» От этих слов веяло могильным холодом, будто все, бредущие замерзшей степью, – свободно, без охраны – шли вперед с единственной целью: выбрать для себя подходящее место, чтобы лечь в снег, как в холодную землю.

– А эти... – он замялся, подбирая правильное слово. – Люди. Куда они подевались?

– Желтые? Чо им сделатся. Разъехались. Он порадовался за воскресших людей. «Скорей всего, в шестидесятых. Как мы».

– А можа и не желтые...

– А кто?

– Ну... – девица протянула неуверенно. – Пленные.

Он почувствовал, как перехватило горло.

– А они... тоже уехали?

– Я почему знаю! Меня же ищо не было... Он перевел дыхание:

– Есть же книги. Тебе что, не интересно? Это же ваша история.

– Чо моя-то! – девица возмутилась. – Я чо, в плену сидела!

Встала и ушла.

Он устыдился своего напора. Мать говорила: люди не вороны, в одно перо не уродятся. Глупо мерить всех по себе. Это ему повезло, вырос среди книг. Мать работала в библиотеке. С пятьдесят четвертого, когда ее списали со стройки. С отмороженными пальцами много не наработаешь. Дали инвалидность. Слава богу, третьей – рабочей – группы. Тогда-то и вспомнила свою довоенную профессию: библиотекарь.

Там, в библиотеке, она и познакомилась с его будущим отцом. «Пришел записываться. Вот уж не думала не гадала. Девки вокруг – молодые, незамужние. А тут – тридцать пять, хромая, с двумя детьми... Невеста с палочкой – смешно, да?» На его памяти мать уже не хромала. Однажды спросил: «А чем ты вылечилась?» – «Ничем, – пожала плечами. – Просто расходила».

Сперва детские, с картинками: и не заметил, как научился читать. Потом – всё, что попадалось под руку, но особенно любил «Красную серию» – приложение к «Пионерской правде». Брал из школьной библиотеки. Каждая библиотека получала их по разнарядке. Книжечки в мягких сероватых обложках (в те годы не хватало красителей) рассказывали про пионеров-героев. Эти мальчики и девочки воевали наравне со взрослыми: ходили на разведку в глубокий тыл противника, считали вражеские танки и артиллерийские орудия, запоминали расположение дотов и дзотов, поджигали дома, в которых фашисты останавливались на постой, осуществляли оперативную связь с партизанами, подрывали вражеские поезда. Но главное – стойко держались на допросах. Даже на виселице (пионеров-героев не расстреливают – это он запомнил твердо) вели себя храбро, не боялись смерти, будто готовились к ней заранее: «Прощайте, товарищи! Победа будет за нами! Уничтожим зверя в его логове! Смерть немецко-фашистским захватчикам! За Родину, за Берию!» Представляя себя на их месте, он боялся,

что не выдержит пыток. Или потом, на виселице, растеряется, не сумеет бросить в лицо мучителям гордые правильные слова.

Когда переехали из барака, мать устроилась в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. К тому времени центр Ленинграда уже построили. Он поправил себя: «Не построили, а *восстановили*: и Публичку, и Елисеевский магазин, и Театр драмы имени Пушкина». Мать радовалась: ездить недалеко. И зарплата побольше. Единственное, о чем жалела, – прежний коллектив: «Ни ругани, ни, боже упаси, сплетен. Если что, всегда сменой поменяются. И праздники вместе отмечали. Да что удивляться – все эвакуированные...»

Для нее – синоним благородства. Когда сын приводил домой нового приятеля, всегда улучала момент: «А этот мальчик из какой семьи?» Если из эвакуированных, принимала безоговорочно, обязательно звала к столу. Мать и вправду верила: ленинградцы друг другу родня, не в переносном, а в самом прямом смысле. По особой ленинградской крови, в которой осталась память о голоде, бомбежках, обстрелах.

Приятели было много, но по-настоящему он дружил с Тимуром: тоже ленинградец, только из партийной семьи. Когда перешли в восьмой класс, отца направили на дипломатическую работу в Россию. Тимку он жалел. Столько лет зубрили иероглифы, теперь наверняка забудет. Даже посоветовал: «Учебник с собой возьми, повторяй». Честно говоря, не надеялся на встречу. Те, кто уезжали в Россию, исчезали бесследно. Но года через два, как раз перед выпускными, довелось. Тимур сам нашел его, дождался у школы. «Ну как твой китайский?» – первое, что он спросил. «Китайский? – Тимка пожал плечами: – Да кому он нужен! Прикинь, ломаться всю жизнь – и чо?» Он не нашелся с ответом. Пугали и странные словечки – время от времени вновь обретенный друг переходил на нем-русский, будто специально, чтобы его подразнить.

«Ну как там у них вообще?» Из разговора он уже понял: в России Тимкина семья вращалась в каких-то высоких сферах, сам Тимур ходил в хорошую школу для черных. «Да как тебе сказать... Мы, в СССР, типа в двадцатом веке. А они в двадцать первом». – «А Китай где?» – «Китай? – Тимка махнул рукой презрительно: – Средневековье. Ваше дичь!»

За Китай он обиделся. Как-никак – великая цивилизация. Нет, не поссорились. Просто раздружились.

В Публичной библиотеке прежние вольности закончились. Пропускная система – от звонка до звонка. Случалось, мать задерживалась допоздна: то санация книг – неудивительно, столько лет пролежали в ящиках, – то ревизия фондов. Потом рассказывала: «Присылали списки. Длинные. Пока найдешь, пока оформишь изъятие. Хотя нам-то грех жаловаться. Раньше, при Берии, чуть не каждый месяц. При Молотове реже... Сортирую, а в голове одно: как ты там? Девчонки выросли, дома не удержишь. Хоть увольняйся. Ну, думаю, уволюсь, а жить-то на что? Если бы не интернат...» В тот год он перешел на шестидневку.

Пашка, командир партизанского отряда, Сере-га-комиссар – прежняя компания осталась в барачном прошлом. Однажды, уже учился в университете, вдруг ни с того ни с сего решил: надо съездить. Благо недалеко. Автобусом часа полтора. Приехал, а там никаких бараков. Блочные пятиэтажки, новый район. Женщины с колясками, бабка на скамейке.

«Ищешь кого?» Ответил, объяснил. «Батюшки! Сынок Машин. Помню тебя, помню, такусенький был. А я – Раиса Петровна. Не узнаешь?»

Материна ровесница, а посмотришь – старуха старухой. «Чего глядишь? Состарилась?» – «Да нет, что вы! Вы еще...» Замолчал, не зная, что сказать. Старуха достала папиросу, чиркнула спичкой. Он смотрел, как она курит, то и дело обирая с губ табачные крошки. «Не состарилась, милок. Изработалась. Укатали сивку. Была сивка, стала кляча... – спохватилась. – Мать-то как?» – «Хорошо. Работает в библиотеке». – «Да-а... Это тебе не стройка. А ведь я ее вспоминала. Думала: повезло! Еще когда-а инвалидность дали...» – Закашлялась, поплевала на дымную папиросу. Вдруг вспомнил: у нее была дочь, дружила с его сестрами. «Галья-то?... Да

всё ничего: закончила ПТУ, на заводе трудится, мастером. Одно время училась на заочном. Бросила, не потянула. Трудно. Двое детей». – «Так это же хорошо, – он решил подбодрить. – И квартира у вас отдельная». – «Теперь нет. Этот, муженек ее, комнату отсудил, прописали на свою голову, сам-то пришлый, из Владивостока».

Потом, когда уходил, вдруг окликнула: «Постой, – поманила пальцем, – поди-ка сюда... Немцы, они ведь как рассчитывали: по-ихнему будет. А оказалось – по-нашему. В тайге, на пустом месте. А все равно построили. Значит, не зря корячились. Отстояли Ленинград».

Вернувшись домой, рассказал матери: конечно, не всё. Незачем попусту расстраивать. «Помнишь Пашку с Серегой? Ну, командир и комиссар. Ты представляешь, сидят. За хулиганство». Думал, скажет: счастье, что ты не пошел по кривой дорожке. Но мать сказала: «Какое счастье, что бараки снесли»...

«Эх, чайку бы сейчас, сладенького, – он потянулся, выпрямляя затекшие ноги. Мимоходом, уже как заправский путешественник, глянув в окно. – Вот тебе и дорога в тысячу *ли*...»

Мимо плыли блочные пятиэтажки, похожие на те, в которых жили Раиса Петровна с дочерью. На проводах, перекинутых от корпуса к корпусу, покачивались редкие лампочки. Островки желтоватого света размывала тьма.

Девушка не возвращалась. Видно, встретила кого-нибудь из *своих*.

«Поня-ятно, – он протянул обиженно. – Сколько волка ни корми...»

Мелькнули горбатые контуры виадука на гигантских опорах. «Ух ты!» – он понял, что имел в виду Тимур. Сотни автомобилей вползали на широченный мост. Съезжая по другую сторону, сплошной поток растекался на два рукава: красно-желтые огоньки на черном бархатном фоне выписывали огромный сияющий крендель, являя глазу даже не двадцать первый век, а какой-то и вовсе неведомый, марсианский.

В динамиках над головой зашуршало.

– «Уважаемые дамы и господа! Говорит командир поезда. Мы прибываем в столицу России – город Москва. Международная компания „Беркут – сверхскоростные магистрали“ и поездная бригада благодарит за ваш выбор и выражает надежду, что в следующий раз...»

Он решил подготовиться заблаговременно. Подергал молнию на чемодане. Убедившись, что застегнуто надежно, надел пальто и вышел в тамбур.

Девушка наконец появилась. Нацепила курточку. Встав на цыпочки, потянулась за чемоданом. Он следил сквозь стеклянную дверь. «Вертихвостка. Пустышка. Про таких говорят – ни с чем пирожок».

Качнувшись напоследок, поезд замер. Оставалось дожидаться проводника.

На платформе, прямо напротив, стоял долговязый парень с букетом, упакованным в целлофан. Долговязый крутил головой, кого-то высматривая, и, видимо, высмотрел: воздев букет, как зажженный факел, кинулся в сторону.

«Странно, а где же все?...» Только теперь заметил: пассажиры толпятся в другом тамбуре. Испугавшись, что не успеет, он подхватился с места. Но торопился зря. Пожилая пара еще возилась с чемоданами.

Старик, его вчерашний благодетель, выставил на платформу последнее багажное место и махнул рукой, подзывая носильщика. Человек с лицом азиата – в переднике и с желтой металлической бляхой – налег грудью на телегу. Он ждал привычного: Па-аберегись! – но азиат топтался неловко, объезжая группу молодых людей, которые не потрудились расступиться.

Перехватив чемоданную ручку, он хотел их обойти. И тут увидел букет – тот самый, в прозрачном целлофане. Алые розы поникли, точно факел прогорел. Вероломная девушка всплескивала руками – не иначе, делилась впечатлениями от долгой поездки. Пожав плечами, он двинулся к зданию вокзала, таща за собой гроыхающий по платформе чемодан.

– Эй ты! – кричали кому-то вдогонку. Он шел, не оглядываясь.

– Това-арищ Руско! «Меня?!»

– Чо, банан в ухе? Зову, зову... «Откуда она узнала мою фамилию? Ах, да! Это же я сам, когда предъявлял паспорт», – вспомнил, краем глаза провожая тележку, заставленную чемоданами. За тележкой шла пожилая пара. В профиль они напоминали камею.

Похоже, носильщик понял его взгляд по-своему. Затормозив на мгновение, показал глазами: чемодан – телега? Он не успел ответить: старик поднял палку с набалдашником и ткнул носильщика в спину. Азиат втянул голову в плечи.

Он чувствовал, как тает его благодарность к старику, растекается грязной лужей по зашарканной платформе.

– Тот человек... Ну, ты ищо грил – мешок...

– Что-что? – он недослышал, скорее прочел по ее губам, одновременно уловив явственный запах спиртного. И взгляд – неверный, плывущий.

Долговязый приблизился и остановился в двух шагах.

– Тебя встречают? – она заговорила громче. – Можем подвезти. У нас ауто.

– Спасибо, – ответил вежливо, но твердо. – Я на метро.

– С ко-офером? – девица протянула удивленно.

– А что, с чемоданами не пускают?

– Ева, ты идешь? – ее кавалер, видно, не выдержал. Она кивнула, не оборачиваясь.

– Ну... Было приятно познакомиться. – Махнула шуршащим букетом. – Можя свидимся когда...

Пройдя сквозь строй таксистов, предлагающих свои услуги, и каких-то сомнительных личностей с табличками «Комнаты, квартиры – посуточно», он вошел в здание *вокзала-близнецца*. Авторы газетных статей не слишком преувеличивали: те же ряды пластмассовых кресел, книжные киоски, лотки с сувенирами. «Если бы не реклама...» – приглядывался, привыкая к навязчивой пестроте.

На постаменте в центре зала белела огромная сахарная голова. То есть, конечно, мраморная.

«У нас – Ленин, а у них?...» И замер, будто не поверил своим глазам. Косая челка, усики над верхней губой. Пассажиры, сновавшие туда-сюда, не обращали *никакого* внимания...

– Чо стал? Шевелись! Пихнули чувствительно, можно сказать, больно.

– Простите, я...

– От желтые, ничо-то им не дается. Чисто тараканы. Понаедут, мля, и стоят... – женщина в длинной распахнутой шубе (о такой мечтают его сестры) обдала его яростным взглядом, будто плеснула кипятком.

«Сумасшедшая, просто психичка какая-то...» – Он спохватился: – Надо было ответить. Поставить на место, сказать...» – вытянул шею, высматривая хамоватую дамочку, но та уже исчезла в толпе.

Глупость, но неприятный осадок остался. И не заметил, как вышел на площадь. По другую сторону проезжей части, запруженной машинами, высилась остроконечная башенка в псевдовосточном стиле: вчера утром он попрощался с ее сестрой-близнецом. Повернул голову, ожидая увидеть высотку (кажется, «Ленинградская» – москвичи знают, для жителей других городов просто молотовская, одна из восьми). Но на месте высотки, визитной карточки советской столицы, здесь, в *их* Москве, высилось массивное здание с круглым куполом – нечто вроде древнеримского Пантеона. Только больше и величественнее.

Он вспомнил: «*Volkshalle*...» – Зал народа. Главный храм нового государственного культа России, пришедшего на смену традиционному христианству. – Действительно, впечатляет...» Сотни ламп, вмонтированных в различные элементы здания, пронзали небесную тьму.

На курсах им показывали документальный фильм: торжественная служба, посвященная Дню весеннего равноденствия, главному российскому празднику. На амвоне государственные деятели и служители культа. Строгие черные костюмы и золотые облачения – плечом к плечу.

Расходясь от подножия широким амфитеатром, замерли десятки тысяч прихожан. Стилизованные факелы, напоминающие свечи, освещают лица тех, кто допущен в храм. Голос за кадром: «Единая российская нация приветствует своих духовных вождей...»

Когда зажегся свет, Геннадий Лукич спросил: «Ну и как вам?» Все молчали. Шеф ответил сам: «По сути, конечно, мракобесие, с нашей точки зрения – фарс. Но обратите внимание, как действует на нестойкие души. Не в пример, – шеф обвел курсантов внимательным взглядом, будто заглянул каждому в душу. – Не в пример нашим транспарантам, портретам вождей и разной прочей... А?» Все обмерли: если шутка, то – странная, пугающая...

Помедлив, Геннадий Лукич продолжил: «Наша идеология устала. На что уж металл прочен, но и он устает. В свое время с этой проблемой столкнулись и наши заклятые соседи, – казалось, шеф беседует сам с собой. – Чтобы оживить народ, требуется серьезная встряска...»

После лекций он всегда выходил окрыленным. Томясь на университетских семинарах, искренне жалел своих коллег-аспирантов, которым не довелось встретить такого блистательно смелого педагога. «Если нам – так, как же преподают настоящим *кадровым* сотрудникам?»

Их курс, который курировал Геннадий Лукич, считался любительским. Физик, работающий в научном институте, химик-лаборант, музейный работник, служащий интуристовской гостиницы, слесарь-наладчик с «Электросилы». Ну и он, филолог-китаист. Гуманитариев его сокурсники не жаловали, между собой называли *балаболками*.

Вглядываясь в контуры *Volkshalle*, он наконец понял, что шеф имел в виду: рядом с этой сияющей громадой даже он, человек, исповедующий подлинные идеалы («Ну да, подлинные», – повторил, будто прислушался к себе), чувствует себя ничтожным. Меньше муравья.

«Зачем я здесь? – Остро, до боли под ребрами, захотелось вернуться обратно. – К *нашим*». Великое, всеобъемлющее слово, как Земля, но не эта, летящая в безвоздушном пространстве голого технического прогресса, а надежная и прочная – которая стоит на трех советских китах: равенства, братства, счастья.

Так он подумал и сам себе удивился: «Эко меня!»

Наставляя его в дорогу, Геннадий Лукич предупреждал: впервые оказавшись в России, наши люди, подчас даже самые стойкие, теряют почву под ногами. Ненадолго. Потом, как правило, справляются. Но есть и такие, у кого *сносит крышу*. Он догадался: нем-русское выражение шеф употребил намеренно, чтобы лишний раз подчеркнуть: обыкновенный сумасшедший не виноват, заболеть может каждый.

Но те, у кого сносит крышу, просят политического убежища. Обращаются к российским властям.

Оглядев сияющую громаду, он отвернулся равнодушно, будто повторил ответ, который дал Геннадию Лукичу: «За меня можете не беспокоиться».

Вдоль серых стен подземного перехода, на корточках, притулившись друг к другу, сидели десятки людей: сутулые спины, черные куртки – по большей части азиаты, но взгляд выхватывал и славян. Азиат-носильщик будил жгучую жалость, эти – тревогу и страх. Казалось, от их сплоченной общности исходит густая волна: смертельной усталости и в то же время потаенной враждебности – тяжелой, будто запах давно не мытого человеческого тела. Этот запах его преследовал, пока он не скрылся за стеклянной перегородкой, загораживающей вход в метро.

Три станции по красной ветке. Пересадка. И еще одна по фиолетовой. Доехав до нужной станции, он поднялся наверх. Стараясь не отвлекаться на неоновые буквы: «Совсем электричество не экономят... – свернул в темный переулок. – Телефонная будка. На схеме справа...»

Думал, спросят документы, но парень, живущий в соседней, торцевой квартире, вышел на площадку и протянул ему ключи.

– Я до завтра, утром уеду, – хотелось наладить простой человеческий контакт.

– Да мне-то... Хыть до нового года... – парень подпернул обвислые треники. – Запрещь, в почтовый ящик сунь.

– А Красная площадь где?

– Чо-чо?

– Кремль...

– А... – парень поковырял в носу. – По Тверской дуй. Пока не упрешься.

Он потоптался в прихожей: все-таки без пяти минут одиннадцать. «Но когда еще доведется? – пристроил чемодан под вешалку. – Была не была!»

Неодобрительно оглядев соседскую дверь: «Разгильдяй. Живет себе не тужит. Бдительность потерял», – спустился по лестнице, радуясь, что избавился наконец от чемодана: хоть и на колесиках, а все равно утомительно. Следуя знакомым маршрутом, вышел на широкую улицу, которую парень назвал Тверской.

Вопреки ожиданиям: а говорили, в *их* Москве гулянка до ночи! – попадались редкие прохожие. Зато машин! – автомобили шли сплошным потоком. Если не считать «ниссанов» (отметил два «патрола» и одного «санни»), большинство неизвестных ему марок.

«Фольксвагены», автомобили их отечественного автопрома, тоже попадались, но в явном меньшинстве. Сколько ни вглядывался, углядел всего одну «трешку» – горбатенькую, последней модели, предмет мечтаний зятя-комсомольца. Верин муж до сих пор ездит на «козулке» (официальное название «краснояр» – автомобильный завод, купленный у корейцев, построили под Красноярском) – тупоносой, будто топором вырубали. И запчастей – днем с огнем.

На подступах к площади ветер заметно окреп. Стало холодно и пустынно – ни людей, ни машин. Он поднял воротник и прибавил шаг, больше не глядя по сторонам. Ступени подземного перехода посверкивали наледью. Держась за поручень, с грехом пополам спустился под землю, ноги так и норовили разъехаться. И, перебежав одним духом, вышел с другой стороны.

Стало совсем страшно. «Ничего, я быстро. Туда и обратно», – ежась и дыша на пальцы, нырнул под арку между двумя башенками. Отсюда открывался вид на ступенчатое здание, где маячила фигура в тулупе – полицей, охраняющий *их* Мавзолей. «Да мне-то что... Их страна. Что хотят, то и охраняют», – но уговоры не помогали. Мысль о том, что в какой-нибудь сотне метров от него лежит преступник всех времен и народов, чьи руки обгарены кровью миллионов, рожила дрожь.

Он стоял, не поднимая глаз от брусчатки, будто дышал могильным холодом: одно дело – труп чужого вождя, совсем другое – то, что ему предстоит.

Это он видел множество раз – в кино, на слайдах, на фотографиях, но теперь точно мертвой хваткой сковали сердце. «Сейчас, сейчас...» – медлил, набираясь храбрости.

Собравшись с духом, поднял голову.

Сердце стукнуло и остановилось.

Вместо привычных красных звезд – родных и негасимых – на вершинах *их* кремлевских башен тусклым инфернальным светом горели черные свастики.

Вторая

I

Время притупляет и самые острые впечатления. Следующие две недели, прошедшие с того незапамятного утра, когда, бросив связку ключей в почтовый ящик, проделал обратный путь от конспиративной квартиры до площади трех вокзалов, чтобы сесть в поезд «Москва – Санкт-Петербург» – самый обыкновенный с технической точки зрения, он не раз и не два предпринимал мысленные попытки порыться в ворохе воспоминаний, стараясь выбрать самые важные, но ошеломляющие открытия ложились слой за слоем, будто укутывали память пухлой снежной ватой.

Как бы то ни было, он понемногу свикался с тем, что черные свастики попадаются сплошь и рядом, не говоря уж о бесноватом психе с косою челкой и невротически ровными усиками над верхней губой (то нарисованном, то напечатанном, то изваянном в бронзе, камне или мраморе), и уже почти не удивлялся, когда, проезжая в автобусе мимо, ну, скажем, Финляндского вокзала, видел постамент, окруженный заиндевелою решеточкой, на котором высилось скульптурное изображение короткоусого деятеля, чьим именем, собственно, и была названа площадь. То же самое и станции метро. Если в первые две недели своего пребывания в этом историческом призраке своего родного города он еще вздрагивал, услышав механический голос: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция проспект Гимmlера», со временем эти слова зазвучали нейтрально, не слишком отличаясь от самых обычных объявлений вроде: «Будьте взаимно вежливы. Уступайте места беременным женщинам и пассажирам с детьми».

Голос, читающий объявления в нашем ленинградском метро, вслед за детьми упоминает инвалидов. Здесь, в России, от них давным-давно избавились, отправив в спецприюты. Кажется, куда-то на север. (О том, что детей с врожденными неизлечимыми заболеваниями убивают немедленно после их рождения, он знал давно. Этому вопиющему обыкновению захребетной жизни советское телевидение посвятило целый цикл передач под общим названием: «Пиррова победа. Страшные последствия оккупации». В доказательство того, что за последние десятилетия российское население превратилось в диких зверей, приводились итоги всероссийского референдума, когда, отвечая на вопрос: должно ли общество проявить подлинную гуманность или пусть жизнь несчастных родителей этих мелких и никому не нужных уродцев превратится в ад, – большинство респондентов выбрало первый вариант.)

Какое-то время он еще переводил мысленно: «Площадь Рудольфа Гесса – ага, Владимирская; Вагнеровская – ну да, у нас Пушкинская», – но потом и это исчезло, тем более названия некоторых станций совпадали: Невский проспект, Гостинный двор (по-здешнему писалось как слышалось: Гостинный) или Технологический институт.

И все-таки одним из главных испытаний оказался нем-русский язык.

На курсах его изучению уделялось самое пристальное внимание, но одно дело – семинарские занятия, совсем другое – языковая среда.

Довольно скоро выяснилось, что простые петербуржцы, те, к кому он время от времени обращался – спросить, например, дорогу, – понимают его с трудом. Напрашивался неутешительный вывод: нем-русский, которому учили на курсах, во многом устарел. Что, впрочем, неудивительно: Александр Егорович Панченко, носитель языка, преподававший в их группе, покинул Россию лет двадцать назад.

Демонстрируя курсантам потрепанную книжечку, по нынешним временам раритет, Александр Егорович приводил характерные примеры:

«Карается смертью: 1) приближение к железнодорожным путям; 2) употребление телефона»;

«Мне нужно 10 телег с лошадьми и возчиками, чтобы увезти продукты. Если возчики ослушаются нас, то они будут расстреляны»;

«У нас есть ордер реквизировать все имеющиеся у вас запасы продовольствия. Если жители вашей деревни спрятали продовольствие, то вся деревня будет оштрафована на 10 000 рублей».

Именно на двух последних примерах Александр Егорович (до войны, в прежнем Ленинграде, он преподавал историю Средневековья, сохранив склонность и вкус к пространным экскурсам в прошлое) прослеживал поэтапный переход русской письменной конструкции «Если..., то...» в нем-русский разговорный: «*Если* ты, отморозок херов, не вернешь бабки, *то* я поставлю тебя на счетчик».

– Обратите внимание на эту неловкую, я бы сказал, ходульную фразу. Нынешние захребетники выражаются живее и короче. Вопрос: «Что вы на это возразите?» – на их язык переводится: «Ага, и чо?» Согласен, – Александр Егорович кивнул. – В сравнении с нашим нем-русский узок и примитивен. Но это не означает, что сами россияне тупицы и идиоты. В известном смысле, они хитрее нас. Живя под властью оккупантов, население испытывает постоянный стресс, который становится образом и нормой жизни. Среднестатистический житель России вынужден приспосабливаться, отсюда ежеминутная готовность к подлости и лжи... – но дальше эту мысль не развил. Закончил коротко и сухо: – Советую это учитывать, а по возможности использовать.

Нем-русский как язык межэтнического общения начал формироваться в первой половине пятидесятых, когда Новая Россия окончательно отмежевалась от Старого Рейха. Тогда же новый государственный аппарат сменил временные органы управления, которые регулировали повседневную жизнь на оккупированных территориях в годы войны.

Руководящие посты в новом государстве заняли немцы, принимавшие участие в военных операциях. Однако не высший командный состав – большинство уже успели выйти на заслуженную пенсию либо убыли по другой, естественной причине. На их место пришли так называемые «молодые волки» – офицеры среднего звена. Вступая в должность, только немногие из них сносно говорили по-русски, оставаясь в узких границах разговорника, где содержался набор коротких и емких фраз, призванных на первых порах облегчить контакты победителей с покоренным населением.

К службе в органах местного самоуправления привлекались фольксдойчи (из тех, кого советские органы власти не успели выслать). Как правило, эти обрусевшие немцы знали два языка. Но таких работников явно не хватало. Тем более в суматохе первых месяцев многих из них расстреляли, приняв за обычных советских интеллигентов.

– Прошу прощения, – курсант Семен Неструйко поднял руку. – А как же хваленый немецкий орднунг?

Александр Егорович задумался:

– На самом деле тот еще бардак. Не меньше, чем... – но, не закончив, потянулся к тряпке, будто намереваясь что-то стереть с доски. – Рассуждая сугубо теоретически, для решения этой задачи весьма пригодились бы евреи. Особенно старшее поколение, выросшее в черте оседлости, – они-то еще помнили идиш, близкий к разговорному немецкому.

Однако последние еврейские поселения, расположенные в западных предгорьях северного Урала (где контингент – в отличие от мест компактного проживания тех славян и азиатов, кого оккупанты сочли ненадежным элементом – содержался за колючей проволокой), исчезли с лица земли уже в 1953 году. В конце концов власти приняли соломоново решение: привлечь к

госслужбе некоторую часть славян – русских, украинцев и белорусов – из числа тех, кто хорошо зарекомендовал себя в годы войны. Бывших полицейских и их подручных, так называемых *хиви*, назначали на мелкие должности вроде начальников подотделов префектур или управ.

Совместная работа предполагает тесное общение. Собственно, отсюда и возник нем-русский язык. В последующие годы, когда за дело взялись лингвисты, этот процесс был описан детально, с подлинной немецкой дотошностью: с одной стороны, инфильтрация в базовый русский целого ряда простейших немецких слов и выражений, с другой – обратная инфильтрация, когда немцы усваивали русскую разговорную лексику – в первую очередь ненормативную.

Старшее поколение – в особенности так называемая «русская интеллигенция», – пыталось эти новшества саботировать, но после ряда специальных акций, когда едва ли не всех горожан выслали в сельскую местность, число саботажников резко сократилось. Освобожденные городские квартиры заселили уроженцами деревень. Учитывая, что их свозили из самых разных областей бывшей европейской части Советского Союза (Новгородская, Псковская, Рязанская, Ставропольский край – Александр Егорович перечислил навскидку), не приходится удивляться, что нем-русский язык впитал в себя и различные местные говоры, со временем потерявшие естественную живость и красоту.

Дети переселенцев, горожане в первом поколении, приняли новый язык безоговорочно. Однако подлинными энтузиастами, как это ни странно, стали немцы. В их национал-патристическом сознании популярный лозунг тех лет: *Neue Heimat – neue Sprache!*¹ – преломился особым образом: диалектически развил довоенную теорию «нового жизненного пространства», в рамках которой арийским гражданам Третьего Рейха была обещана новая собственность: дома, квартиры и земельные участки на завоеванных восточных территориях. А значит, и новый язык.

Что касается обценной лексики, этой неотъемлемой составляющей современного нем-русского, Александр Егорович напомнил: в ушах иностранцев русский мат звучит иначе, не проникая в те слои подсознания, где, точно в копилке народной мудрости, собрано самое сокровенное, в каком-то смысле составляющее «душу народа».

– Существует и другая теория, – Александр Егорович тонко усмехнулся. – Некоторые ученые полагают, будто первые российские чиновники охотно прибегали к ненормативным выражениям по той именно причине, что послевоенная русская жизнь, в сравнении с привычной в их некогда родной Старой Германии, казалась им подлинным, хотя и страшноватым, карнавалом, – и объясняя этот подход, сослался на труды великого советского ученого М. М. Бахтина, реабилитированного в период «молотовской оттепели».

Впрочем, сам Александр Егорович придерживался третьего мнения, коим охотно поделился с курсантами: русский мат сам по себе штука экспрессивная и по-своему привлекательная. Так что не стоит мудрствовать лукаво. Скорей всего, чиновники искренне и просто-душно щеголяли друг перед другом, а также перед подчиненными, умением завернуть «русское коленце» или употребить «лихое словцо».

Особую роль в популяризации и становлении нового государственного языка сыграло российское телевидение: с конца 1950-х годов по Первому каналу – тогда он обслуживал исключительно оккупантов – шел моментально ставший популярным сериал: «Говорим по-нем-русски», в котором в комплиментарной для немцев форме воспроизводилась история завоевания новых территорий с упором на освобождение народов, пострадавших под пятой большевиков. Руководство Второго и Третьего каналов (целевая аудитория: «синие» и «желтые» соответственно) облизывалось на рейтинги конкурентов, но уже со следующего сезона, получив одобрение высших государственных инстанций, активно «вписалось в тему». По времени это совпало с идеологической кампанией «по созданию у населения хорошего настро-

¹ Новая Родина – новый язык! (нем.)

ния». (Тут Александр Егорович сослался на Инструкцию министерства культуры и пропаганды от 17 июля 1954 г., а также установочную статью начальника Отдела печати и массовых коммуникаций: *Дитрих О.* Наша радость и сила // Фёлькишер беобахтер. 24.07.1959.)

Ученые-лингвисты, работавшие в 1960-х, еще пытались обратить внимание на вопиющие ошибки – как в разговорном языке, так и в письменном. Но в те времена у властей были другие приоритеты: борьба с разрухой и восстановление национал-социалистической экономики. Свою роль сыграло и то, что сами немцы, за редким исключением, этих ошибок просто не замечали. Их русские подчиненные (упомянув эту категорию нем-русского населения, Александр Егорович упорно избегал слова коллаборационисты и даже *пособники* – что заметили многие курсанты) не решались поправлять своих новых хозяев, справедливо полагая, что лучше уж самим как-нибудь приспособиться, нежели рисковать своим достатком, общественным положением. А на первых порах – и жизнью.

Со временем новые нормы были включены в авторитетные словари. Специалисты указывали, что некоторые изменения произошли и в немецком языке, в частности, появились неологизмы, неизвестные немцам, живущим в прежней Германии.

– Кстати говоря, – Александр Егорович поднял указательный палец, как всегда, когда обращал внимание аудитории на что-то, с его точки зрения, исключительно важное, – россияне не считают «немецких» немцев своими соотечественниками. После войны их стали называть населением Старого Рейха.

Кто-то из курсантов, кажется Вася Спицин, поднял руку:

– Товарищ майор, разрешите обратиться. Подполковник Добробаба говорит: там, у них, всё по нациям. «Синие» – славяне, «желтые» – турки. А у вас вроде как по профессиям?

Вопрос, который у всех вертелся на языке. Александр Егорович охотно объяснил. В первые годы оккупации на тяжелых и неквалифицированных работах действительно использовали славян. В рамках арийской теории именно они, а не турки и горские народы, считались «недолюдьми». Однако позже возобладали практические соображения: выяснилось, что большевики, лучше знающие свое население, были по-своему правы. Именно славяне выказали большую лояльность новой власти, в особенности население тех промышленных районов, вроде бывшего Донбасса («Отметьте для себя. Захребетники говорят и пишут: Дом-бас»), где уже к началу 1960-х окончательно истребили партизан.

Объяснение было принято в штыки: что значит – истребили? Партизаны не клопы! Настораживало и то, что, в отличие от других преподавателей, Александр Егорович не давал идеологической оценки зверствам фашистских захватчиков. Даже о расстрелах евреев, а также коммунистов, комиссаров и тех, кто наотрез отказался от сотрудничества, упоминал как-то походя и мельком. Общее мнение выразил все тот же Спицин: «Клевещет, тварь фашистская!». Он же и предложил сообщить куратору группы: «Пусть разберутся, что он вообще за фрукт».

Настороженное недоумение рассеялось, когда через неделю, на очередной лекции (думали – всё, но нет, явился по расписанию), Александр Егорович объяснил: «Я понимаю ваши чувства. Но для эффективной работы на чужой территории мало знать язык. Тем из вас, кто паче чаяния будет заброшен в Россию, необходимо перенять образ мыслей противника, научиться думать как оккупанты...»

Перенять. Иными словами, притерпеться к обыденности того, что с самого детства считаешь формой Абсолютного Зла. Теперь, оказавшись в России, он частенько вспоминал эти слова.

Первые позитивные сдвиги почувствовал уже через неделю, когда, вспомнив бюст Гитлера на Московском вокзале и черные кремлевские свастики, вдруг осознал, что они больше не кажутся чем-то пугающе-зловещим. Теперь он почти понимал захребетников, которые пробегают мимо, не обращая внимания на эти приметы некогда живой истории: для местных они

давным-давно омертвели, окончательно слившись с внешней средой. «Мы ведь тоже не обращаем внимания. Ну, положим, Ленин. Стоит и стоит...»

Постепенно он начал привыкать и к языку, почти убедив себя в том, что нет ничего страшного в заимствованиях (в конце концов, мы тоже заимствуем у китайцев). И общая тенденция к опрощению орфографии и синтаксиса: «заец» и «ицо» – не космическая катастрофа. Отказались же в свое время от еров. Что касается простонародных выражений, его родной русский также отдает им известную дань. Равно как и обценной лексике – не ею ли пестрят древнерусские берестяные грамоты?

Хуже другое. Глубоко укоренившийся навык нацистского мышления, который он встречал на каждом шагу. В самых обыденных ситуациях.

Его изумила небрежность, с какой мужчина-прохожий, у которого он спросил дорогу, махнул рукой в сторону Обводного канала: «Там, за жидовским гетто, на тройке типа езжай», – с той же естественной и привычной легкостью, с какой ленинградцы упоминают свои Пять углов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.